

ОЛЬГА СЕДАКОВА

ЧЕТЫРЕ ПОЭТА

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

ПОЛЬ КЛОДЕЛЬ

ТОМАС СТЕРНС ЭЛИОТ

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

Электронное издание

Настоящее электронное издание предоставляется для бесплатного личного некоммерческого использования. Цитирование допускается с обязательным указанием имени автора и источника. Электронный файл воспроизводит авторский макет печатного издания. Библиографическое описание оригинальной публикации приводится ниже в справочных целях.

Ольга Седакова. Четыре поэта: Райнер Мария Рильке, Поль Клодель, Томас Стернз Элиот, Пауль Целан. — СПб.: Jaromír Hladík press, 2020. — 152 с.

В этой книге имя переводчика — Ольги Седаковой — стоит в качестве имени автора не случайно. Есть поэтические переводы, служащие узнаванию и просвещению, а есть, особенно у значительных поэтов, — служащие пониманию и просвечиванию. Пониманию и просвечиванию своего языка как *говорящего* инструмента. Такие переводы — не освоение, а присвоение, усвоение. И еще они — наука смирения. Именно к ним относятся переводы Ольги Седаковой из четырех больших поэтов XX века — Рильке, Клоделя, Элиота, Целана, — объединенные под одной обложкой если не в единый текст (что невозможно при всей разнородности этих авторов), то в единый контекст, — поэзии, так или иначе изменившей саму химию языка (языков) и сумевшей поддержать человеческие сердца «своим строем, ритмом, своим напряжением», своим внутренним «виражом» (важное для Ольги Седаковой понятие), возносящим эти сердца горé.

© Ольга Седакова, составление, перевод,
статья, примечания, 2020

© Ник Теплов, оформление обложки, 2020

ЧЕТЫРЕ ПОЭТА

БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ XX ВЕКА

Я не думаю, что четыре поэта, собранные здесь под одной обложкой, были бы рады такому соседству. Поль Клодель в своих дневниках высказался по поводу Рильке и Элиота прямо и уничижительно. Суждения Рильке и Элиота о Клоделе нам неизвестны; можно предположить, что он их не слишком интересовал. Между ними тремя и Паулем Целаном лежит роковая граница: то, что пишет Целан, — это уже «поэзия после Аушвица».

Вообще говоря, большой поэт не хочет никакого соседства — просто потому, что он уверен, что предлагает единственное решение, тот единственный

Образ мира, в слове явленный,

по-своему исчерпывающий, который не нуждается ни в каких иных. Без этой рабочей иллюзии большая поэзия не возникает.

Я здесь стою и не могу иначе.

Каждый из наших четырех поэтов, несомненно, «не может иначе». Если что и связывает их, так это то, что каждый из них — большой поэт: большой поэт XX века. «Большой» — не эмоциональный и не оценочный эпитет. Речь идет о поэте, который что-то сделал со всей поэзией. У меньших поэтов, *poetae minores*, можно найти удивительные сокровища. Но писать *после* Данте, *после* Рильке, писать *после* Элиота — так можно думать об очень немногих. Мне приходилось встречать признания разных европей-

ских поэтов о том, что поэзия делится для них на «до „Бесплодной земли“» — и после нее.

У меня хранится драгоценный подарок: первое издание одного из «Четырех квартетов» Т. С. Элиота, третьего, «The Dry Salvages». Брошюра в бумажном переплете из пятнадцати страниц, издательство *Faber&Faber*, 1941 год. Ее подарил мне, прощаясь, мой английский друг, католический богослов, профессор Доналд Никкол. Он написал: «Во время Второй мировой войны поэзия Элиота не давала нам упасть духом (*kept us in good heart*). Я, молодой солдат, носил с собой все издания „Четырех Квартетов“». (Они публиковались по мере создания отдельными книгами).

Читатели Элиота представляют, что его стихи никак нельзя назвать утешительными или ободряющими в расхожем значении. Они полны горечи и, я бы сказала, трагической сатиры. Они трудны, и вряд ли они могли открыться «молодому солдату» без каких-то — и, вероятно, немалых — усилий. Но то, что эти стихи делают — «не дают упасть духом» (буквально «держат в хорошем сердце»), — они делают, я думаю, еще до того, как их более или менее удовлетворительно поймут. Они делают это своим строем, ритмом, своим напряжением, своей тягой к... скажем так, к истине. К тому, что осветит жизнь от начала до конца: от «начала, в котором конец» и до «конца, в котором начало». Как заметил сам Элиот в связи с Данте, «истинная поэзия говорит с нами прежде, чем мы ее поймем». В том обороте Доналда, который я приблизительно перевела как «не падать духом», мне слышится отзвук литургического «*Sursum corda!*» — «Горé имеем сердца!». Высокий модерн несет в себе это внутреннее движение; он его сообщает читателю.

В XX веке человек нуждался в поэзии там, где, как решили бы теперь, уже совсем не до стихов. На войне — как об этом сказано у Доналда и в множестве других свидетельств о стихотворных книжках в военных сумках русских, немецких, итальянских солдат; поэтов и новых, и давних. В лагерях: помните рассказ Примо Леви о том, как он в лагере читает дантовскую песнь об Улиссе — и его собеседник оживает? А рассказ Улисса звучит, напомним, в глубине «Ада». От людей, вернувшихся из наших лагерей, я слышала, как там читали и переписывали Ахматову и Пастернака, читали и переводили Рильке. Видимо, стихи и там делали ту же работу: «не давали упасть духом», «хранили сердце» (не в сентиментальном, а в прямом или этимологическом смысле: сердце, сердцевину человеческого существа, которая падает и рушится, когда ее покидает «усилие воскресенья», словами нашего поэта).

Это делается, как я уже сказала, не столько «смыслом» или «темой», но самой *силой* соединенных в стихе слов.

Европейская поэзия высокого модерна пришла в русский язык с большим опозданием. Все четыре имени, которые здесь названы, в советское время были если не запрещены, то полуразрешены. С тем, каким должно быть (да и было по существу) правильное искусство при победившем учении, все это никак не соединялось. «Мистика», «заумь», «субъективизм», «формализм» — как еще это клеймили? «Нормальная» русская поэзия советской эпохи жила как бы до модерна. Свой высокий модерн (Марина Цветаева, Борис Пастернак, Осип Мандельштам... не перечисляю всех) тоже был вытеснен в самиздат. Так что, переводя из Рильке или из Клоделя, я не думала о публикации этих переводов.

О поэзии Райнера Марии Рильке больше, чем все переводы (а они появились в печати поздно), говорят поздние стихи Бориса Пастернака, особенно евангельский цикл стихов из «Доктора Живаго» (и, конечно, это характерно пастернаковское продолжение). Стихи, проза, драматургия Поля Клоделя до сих пор мало кому известны и явно никак не взаимодействовали с отечественной словесностью. Переводы стихов, драмы и эссеистики Т. С. Элиота — самого влиятельного из наших четырех авторов — также не имели никакого продолжения в русской литературе. Иосиф Бродский почтил его кончину стихами, но своим вергилием выбрал У. Х. Одена; кстати, элиотовское посвящение Бродского повторяет форму стихов Одена на смерть У. Б. Йейтса.

В последнее время Пауль Целан все больше звучит в нашей поэзии. Его много переводят, его присутствие становится ощутимым.

О каждом из них — о Рильке, об Элиоте, о Клоделе, о Целане — написано море критики и исследований. О каждом из них писала и я, но не буду здесь этого повторять и пересказывать. Пусть говорят сами стихи*. В каждом случае это довольно произвольная выборка, и стоит помнить, что единицей поэтической мысли у всех этих поэтов было не отдельное стихотворение, а цикл или книга. Здесь нет, к сожалению, самых больших сочинений — «Пяти больших од» Клоделя, «Дуинских элегий» Рильке, «Четырех квартетов» Элиота.

Но о переводе я все-таки скажу. Моей первой задачей было передать именно то, «что стихи говорят

* Я оставляю эти стихи без комментариев, за исключением Т. С. Элиота. Комментирование — в его духе. Он занимался этим сам, он ценил комментирование у Данте.

нам прежде, чем мы их поймем»: саму смысловую поступь, саму жестикуляцию, саму «музыку» стиха, вираж поэтического слова. Представлением о вираже я обязана французскому философу и переводчику Фридриха Гёльдерлина Франсуа Федье. Он заметил, что поэтическое слово отличается от бытового тем, что содержит в себе некий вираж. Это может показаться сдвигом или деформацией привычного значения, но оно возникает из желания вновь сделать язык говорящим. Бытовой практический язык перестает *говорить*: он «употребляется», как набор готовых болванок к случаю. Весь модерн противостоял этой словесной инерции. У каждого из четырех моих поэтов свой вираж: самый резкий у Целана, самый плавный — у Клоделя: его неожиданность — в другом месте. В переводческом языке (а именно на этот стертый язык принято у нас переводить стихи с соблюдением их внешней формы) нет никакого виража. Вот этого положения мне и хотелось избежать.

О. С.

20 мая 2020

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

* * *

Ты знаешь ли святых твоих, Господь?
И в тесных кельях, где они трудились,
Им слышно было, как томится плоть.
Они ушли и в землю возвратились.

И каждый жег свой свет и выдыхал
свой нищий воздух в избранной могиле.
Кончался возраст. Облик исчезал.
Как дом без окон, эти души жили.
Их смерть прошла и обратилась в прах.
Они читали редко: на листах
все было так, словно мороз на книги
дохнул, и, как на их костях вериги,
значения повисли на словах.

Они не говорили меж собой
с тех пор, как опустились в подземелье.
Их волосы висели как хотели.
Никто не знал, живет еще другой
или скончался.

В большей из пещер,
там, где святой бальзам питал лампы,
они сходились и садились рядом,
перед дверьми, перед блаженным садом
шумели бороды. Как дождь в плюще,
сон шелестел под их бессонным взглядом.
С тех пор как ночь не обрывалась днем,
их жизнь была — несчетное начало.
Да, некая волна над ними встала,
схватила и швырнула в древний дом
утробы. Как зародыши, клубком,
большеголовы, с птичьими руками,

они уже не ели, возникая
в глубоком сне, во чреве вековом.
И вот из городов и деревень
паломники спешат на поклоненье
сюда, где три столетия, как день,
и где они лежат, не зная тленья.
Как свечи, оплывает темнота
и копится у лиц неопалимых,
под пеленами белыми хранимых,
и складки этих рук неразрешимых
лежат, как складки горного хребта.

Ты, Господи святых и вознесенных,
иль Ты забыл для этих погребенных
назначить смерть, когда была она
при жизни ими прожита до дна?
Или себя с умершими равняя,
с бессмертьем смертный будет породнен,
и жизнь останков, страшная, большая,
одна преодолееет смерть времен?
И если век их для Тебя хорош,
возьмешь ли Ты сосуд пустой и верный
и знающий о том, что Ты, безмерный,
однажды кровь свою в него вольешь?

ПОБЕГ ВЛУДНОГО СЫНА

Итак, бежать. Все спутано, врожденно.
Все наше и не нам принадлежит,
и, как вода в потоке засоренном,
нас криво отражает и дрожит,
и, как репейник на пути решенном,
еще уцепится за нас. Бежать.

И увидеть
Все то, что не дает
узнать себя в присутствии поденном, —
сладчайшим увидеть, и примиренным,
в начале сердца и вблизи... И вот
угадывать: как все одушевленно,
какая скорбь сюда идет
из детских дней, где слезы глубоки...

И все ж бежать. И руку из руки
мы выдернем. Так счастье разбивают.
И прочь. Куда? к неведомому краю.
В края, какие сердцу далеки
и, как кулиса, действие закрывают.
Где все равно: стена, изгиб реки... —

и прочь. Зачем? Из сходства, из желанья
сродства. Из нетерпенья. Выжиданья.
Непостижимости. Постигнутой тоски. —

И *этого* лишить себя. С пустою
надеждою лишить. Чтоб одному
кончаться, не гадая почему...

И это выход в бытие иное?

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

И он прошел в темнеющих ветвях,
неразличимый на масличном склоне.
И он сложил всю ношу лба, весь прах
в глубокий прах земной, в свои ладони.
И это всё. И это был конец.
Но как же я уйду теперь, незрячий?
Зачем ты хочешь, чтобы я, отец,
сказал тебя? Ты мной уже утрачен.

Здесь нет тебя. Мой дух, душа моя
тебя не знают. Камень и струя
тебя не знают. Нет. Здесь только я.

Здесь только я и скорбь веков. Я сам
взялся сложить ее к твоим ногам.
Но нет тебя. О безымянный срам.
И скажут: Ангел появлялся там.

Какой же ангел? Это ночь пришла
в масличный сад, глухая и слепая.
Ученики вздыхали, засыпая.
Какой же ангел? это ночь пришла.

И ночь была одна из тех, убогих,
каких мильон уже прошло.
Заснули псы и камни на дорогах.
О скорбная, о многая из многих!
И как она ждала, чтоб рассвело.
К *такой* молитве ангел не приходит,
ночь не выводит из ночей.

Собой утраченный — уже ничей.
Таким отцы прощенья не находят.
Их оттолкнут утробы матерей.

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

Так. Им снова нужен этот сон:
знаменья и буквы огневые.
Но хотелось Марфу и Марию
успокоить, показав, что он
может *это*. Но никто не верил,
— Господи! — шепча, — зачем теперь?
В мире есть заказанные двери... —
И он вышел, чтобы эту дверь

разрешить. И, брови напрягая,
он спросил о месте. Он страдал.
И народ решил, что он рыдает.
И бежал за ним, и выжидал.

И лишь на ходу он понял ужас
начатой попытки. Но тогда
некий пламень, поедая душу,
встал — и опровергнул навсегда

их бессмысленные различенья:
это *умереть* и это *жить*.
И враждою стал он в каждом члене.
И сказал он: Камень отложить!

— Он смердит уже, — ему кричали, —
Господи, четвертый день!

Но в нем
этот знак, сжигающий вначале,
рос. И вот ему с трудом, с трудом
руку поднял.

Медленней и выше
ни одна не совершит подъем.

Совершила. И стоит, как свет.
И сама себя в себя вонзила.
Ибо дрогнул он, что эта сила
всех умерших вызовет на свет.

Всех, кто всосан почвой гробовой,
выведет, от ложа отрывая...

Но восстал *один*.
Изнемогая,
видели: неверная, больная
жизнь опять решилась на него.

РЕКВИЕМ ГРАФУ
ВОЛЬФУ ФОН КАЛКРОЙТУ

Или я знал тебя? перед тобой
так сердце ноет, как перед началом
оттянутым. И как же я начну
тебя, мертвец? ты, мертвый по любви,
ты, страстно мертвый. Что же, это так
излечивает, как ты думал, или
уже не жить — еще не умереть?
Ты замышлял перенести владенья
туда, где им цены нет. Ты решил,
что будешь там, а это как пейзаж,
и здесь он на холсте и впереди
и только цель — а там-то, изнутри,
ты всё пройдешь, как сильное дыханье.
О, только бы обманом пострашней
не обернулась детская ошибка.
О, только бы, подхваченный тоской,
ее теченьем — полусознавая —
ее движеньем к дальнему созвездию,
ты радость отыскал, какую ты
отсюда перенес в свое захороненье.
Как близко, милый, был ты к ней, как здесь.
Как здешнему она была к лицу,
строгая радость крепнущей тоски.

Когда, изверясь в счастье и несчастье,
ты сам в себя ушел, как рудокопы,
и выкарабкался на свет, разбитый
своей находкой темной — вот тогда
ты нес ее, ты нес и не узнал:
надел земли твоей обетованной
ты нес в крови, и шел, и обгонял.

Но вот чего не ждал ты: этот груз
невыносим, и превзойдет себя,
и только так преобразится в правду.
И может быть, уже ближайший миг
готовил это: у твоих дверей
стоял с венцом — и ты захлопнул дверь.

О этот шаг, как вздрагивает мир,
когда под острым ветром нетерпенья
щеколда ударяет о затвор!
Кто поклянется, что его земля
не переймет — и не разрушит семя.
Кто нас уверит, что в ручных зверях
не вспыхивает похоть людоеда,
когда им этот гром ударит в мозг.
Кто проследит последствия поступка
в ближайшем дереве — и кто за ним
пойдет туда, где всё ведет ко всем.

Как ты разрушил. Как вовек, вовек
ничем другим тебя уже не вспомнят.
И явится герой, и ветхий смысл,
который мы считали ликом вещи,
сорвет как маску: яростные лица
объявятся. Но их глаза давно
свели в искажающую прорезь:
вот это лик, отныне и навек:
как ты разрушил. Подвозили плиты,
и музыки строительных лесов
уже не сдерживал счастливый воздух,
когда ты шел — и ты не понял строя:
одно другое заслоняло. Всё,
казалось, корень запускало в землю,
когда, не веруя, но помогаясь,
ты пробовал поднять — и поднял всё
в отчаянье — но лишь затем, чтоб тут же

обрушить это все в каменоломню,
куда оно, расширившись, как сердце,
уже не умещалось. Если б здесь
какая-нибудь женщина вошла
и улыбнулась; если б кто-нибудь,
кто глубочайше, внутреннейше занят,
тихо взглянул, когда ты молча шел
куда решился; если б на пути
стояла кузница, как на часах:
рабочие куют и день идет
в осуществление; если б, наконец,
в твоих зрачках еще нашлось пространство
и в нем, измучась, уместился жук —
тогда бы при внезапном озаренье
ты надпись прочитал: какие буквы
ты медленно вырезывал в себе,
и складывал в слова, и строил фразу,
и ах! она бессмысленной казалась.
Я знаю, знаю: вот ты лег и стал
прощупывать насечки, как надгробье
на кладбище. Вот ты зажег, что мог,
что было под рукой, — и, как свечу,
поднес к строке — и тут огонь потух
скорей, чем нужно. Может быть, дыхание.
Быть может, это дрогнула рука.
А может, сам, как с пламенем бывает.
Ты не прочел. Но как же мы прочтем
сквозь эти слезы и на расстояние.

Одни стихи мы видим: вот слова,
они еще встают против движенья
твоей судьбы — и ты их выбрал. Нет,
не все ты выбрал. Иногда зачин
ты принимал за целое, и в целом

был только долг, и горький для тебя.
Уж лучше бы тебе его не знать.

Но Ангел твой звучит и произносит
те же звучанья, но иначе — и
какой восторг в его произношение,
восторг тобою, ибо вот — твое:
и всё, что любят, от тебя отпало;
и ты в прозренье угадал отказ;
и совершенствованье понял в смерти.

Вот что твоим, художник, было: три
открытых формы. Так смотри же, выход
из первой: протяженность ощущения.
Вот из второй я вынимаю: зренье
великих мастеров — и это взгляд,
который ничего не хочет. Третья —
ты не дождался, ты разбил ее,
лишь первый выплеск раскаленной лавы
ударил в сердце, третья — это смерть
отличной выработки: глубоко
устроенная, *собственная* смерть.
Мы так ей нужны, так ее живем
и ближе к ней не будем, чем теперь.

Вот все твое добро и окруженье.
Ты так и знал. Но дупла этих форм
тебя пугали. В их зиянья руку
ты опустил и вынул: пусто. И
себя оплакал. — Бедствие поэтов!
они себя оплачут, где должны
себя сказать. Они изложат чувства
там, где их нужно выстроить. Они
пойдут судить, что весело, что грустно,
что можно бы перевести словами,
воспеть или оплакать. Как больные,

они слова находят побольней,
чтоб указать, где больно. Между тем
их дело — преобразоваться в слово.
Так каменщик переложил себя
в большое равнодушие собора.

И ты бы спасся. Если бы хоть *раз*
ты видел, как судьба твоя уходит
в твои слова — и не вернется, как
она — картина, предок на портрете:
он в раме и, когда посмотришь вверх,
он то похож, то снова непохож —
и ты бы спасся.

Впрочем, это мелко,
судить о неслучившемся. И если
здесь есть укор, прости, он не тебе.
Есть в происшедшем важный перевес:
оно опередило нас. И как
догнать его, чтобы взглянуть в лицо.

Так не смущайся перед мертвецами,
перед другими, теми, кто терпел
до самого конца (но где конец?).
Взгляни в глаза им, как велит обычай,
и не смущайся, что от наших слез
ты искажен и не похож на них.
Великие слова других времен,
других событий, *явных* — не для нас.
Что за победа? Выстоять — и все.

«СОНЕТЫ К ОРФЕЮ»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

II

И девочка почти, она вошла
из общей славы голоса и лиры
и просияла в ткани прихотливой
и слух мой, как постель, разобрала

и спит во мне. И это сон ее:
деревья торжества и восхищенья,
луг ощутимый, дали ощущенья
и всё, чем сердце тронута мое.

И спит о мире. Боже, научи,
как ты творил ее, не пробуждая?
и спит, и возникая восстает...

Где смерть ее? куда мотив ведет?
куда исчезнет песня, поглощая
себя во мне? о, девочка почти...

IX

Тот только, кто пронесет
лиру в загробье,
тот, угадав, возведет
славу над скорбью.

Кто с мертвецами вкусит
мака забвенья,
гибнущий звук возвратит
в вечное пенье.

Пусть отраженье с водой
вновь унесется,
образ построй:

только из бездны двойной
голос вернется
кротко живой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XXI

Сердце, сады воспоем и садов неприступные входы.
В ясном и твердом сосуде их вылепил свет.
Розы Ширази поем, исфаханские воды,
славя сады, для которых подобия нет.

Сердце, тверди, что ты их не теряло, что там
помнят тебя. И гордись налитыми плодами,
словно ты там, словно там, между живыми ветвями
воздуха облик цветной поднимается к нам.

Не заблуждайся: ничто не грозит нищетою.
Нет нищеты для того, кто решается *быть*.
Шелковой нитью войди в полотно золотое.

Сердце, с каким бы из обликов или с каким
из мучений
ты в глубине не сплеталось, как с нитями нить,
памятно целое. Ясен ковер восхвалений.

К МУЗЫКЕ

Музыка: статуя дышит. Быть может:
образ покоится.
Ты язык, когда языки
кончатся. Время,
по вертикали встающее к исчезновению сердца.

Ты чужбина, музыка.
Произрастает из нас
сердца пространство. Глубочайшее наше,
нас превзойдя, вырываясь...
о разлука блаженная.
Будущим окружены,
как сверхопытной далью, изнанкой
воздуха
чистой
гигантской
уже никогда не жилой...

Поль Клодель

НЕВМЕНЯЕМЫЙ (ВЕРЛЕН)

Это был моряк, оставленный на берегу, с которым
жандармерии пришлось повозиться.

С двумя су на табак, со справкой из бельгийской
тюрьмы и сопроводительным листом
до французской столицы.

Моряк без морей, бродяга, с пути сбившийся, как
корабль, потерявший фарватер.

Местожителство — неизвестно, место службы —
прочерк... «Верлен Поль, литератор».

Бедолага сочинял стихи, которые у Анатоля Франса
вызывали смех.

— Тот, кто пишет по-французски, сударь, должен
быть понятен для всех!

Впрочем, со скрюченной своей ногой был он
забавен и пригодился в одной новелле.

Ему платили кой-какой гонорар, и студенты перед
ним благоговели.

Но все эти штуки, что он писал, их невозможно
читать без раздраженья.

В них иногда по тринадцать стоп и совершенно
никакого значенья.

Нет, не для таких премия Аршон-Деперуза и кивок
господина де Монтиона с олимпийских облаков.
Это смехотворный дилетант среди профессионалов
и знатоков.

Советовали ему и то, и это: с голоду умирает,
значит, сам виноват.
Нас его шарлатанские причитанья, слава Богу,
не убедят.

А деньги, так их едва хватает на господ профессоров,
Которые в дальнейшем о нем прочитают курс —
и удостоятся различных орденов.

Мы не знаем этого человека и не слыхали, кто он
такой.
Старый плешивый Сократ со включенной бородой.

Доза абсента — пятьдесят сантимов, а требуется
четыре зараз:
Лучше напиться, как свинья, чем быть похожим
на нас.

Ибо в сердце его — какой-то яд, одуряющее звуковое
виденье:
Этот голос — то ли женщины, то ли ребенка,
то ли Ангела, который окликнул его в Эдеме.

Так пускай Катюль Мендес остается звездой
и гением — Сюлли Прюдом.
А он не получит почетный головной убор
и гравированный на меди диплом.

И пускай другим украшают жизнь добронравье,
женщины, почести и сигары.
Он в чем мать родила лежит в номерах
с равнодушьем какой-то Сахары.

Он знает по кличкам торговцев вином, и больница —
давно ему дом.

Лучше подохнуть, как собака, чем быть, как все
кругом.

Итак, прославим единодушно Верлена — тем более
он умер, говорят.

А этого единственно ему не хватало. Но главное,
чему я рад, —

Мы все понимаем его стихи, все! особенно если
барышни поют под рояль: ведь наши
Лучшие композиторы заключили их в серафические
пассажи!

Старик ушел. Он вернулся туда, откуда его прогнали,
На корабль, который все это время ждал его в черном
порту, да мы не видали

Ничего: только взрыв огромного паруса да могучий
шум форштевня, рассекающего пену океана.
Только голос — то ли женщины, то ли ребенка, то ли
Ангела — «Верлен!» — позвал его из тумана.

БАЛЛАДА

Негоцианты Тира и сегодняшние коммерсанты,
отправляющиеся по воде на диковинных
механических созданиях,
Те, кого далеко провожает платок прощальной
чайки, а кто им машет — не узнать,
Кому виноградника своего и поля мало, но что-то
понадобилось в Новом Орлеане,
Кто ушел навсегда и не вернется назад,
Все пожиратели расстояний, море в их руках — вы
думаете, этим можно досыта насладиться?
Кто губы единожды обмакнул, не отойдет от чаши,
пока своего не допьет.
Долог, долог будет путь, и все-таки можно
решиться.

Только первый глоток горло дерет.

Экипажи торпедированных судов, чьи названия
занесены в статистические таблицы,
Гарнизоны эсминцев, внезапно нашедшие путь
сразу ко всем берегам,
Эскортёры чахоточных траулеров, команды
подлодок, которые угораздило заблудиться,
И все, что без разбора сгружает корабль,
обернувшись килем к небесам,
Вот он, их долг — в размер кругового горизонта.
Это море само выходит навстречу: кто-то снова
должен выйти, кто-нибудь дорогу найдет.
Стоит подставить рот, а дальше уже не наша забота:
Только первый глоток горло дерет.

Что же они говорили, пассажиры океанских
гигантов,
В ту ночь, накануне дня, когда радист отбил: «Идем
ко дну!»
Покуда в трюмах третьего класса самодельной
музыкой тешились эмигранты,
А море отступало и подступало к каждому окну?
— То, что однажды брошено, зачем ему наше
сожаленье?
Зачем желать, чтобы жизнь вернулась, если все
прошло и все пройдет?
Да, любимых снова увидеть неплохо, но ничто
не лучше забвенья.
Только первый глоток горло дерет.

ПОСЫЛКА

Ничего, кроме моря со всех сторон, кроме того, что
бросает и возносит!
Довольно этого жала в сердце, довольно жизни,
которая в час по капле течет!
Ничего, кроме моря! море — и мы в нем, и никто
другого не попросит!
Только первый глоток горло дерет.

БАЛЛАДА

Мы уже уезжали множество раз, но этот раз —
последний.

Прощайте, кому мы дороги! поезд не ждет,
простимся на ходу.

Эту сцену мы повторяли множество раз, но этот
раз — последний.

А, вы думали: мне не уйти? Смотрите же: иду.
Мать, прощай! Что ты плачешь, как тот, у кого еще
есть надежда или сомненье?

То, что не может быть иначе, слезы не стоит,
не стоит слезы из наших глаз.

Или вы забыли, что я — тень и уйду, как тень,
вы сами, тени и виденья?

Мы никогда не увидим вас.

И мы покидаем женщин: и верных жен, и подруг,
и нареченных.

Кончено с женским и ребячьим лепетом: мы
одиноким, мы легким, как перед концом.

Но в последний миг еще, но в час этот,
торжественный и помраченный,

Позволь мне поглядеть на лицо твое, пока я не стал
чужим и мертвецом,

Пока я не исчез. Позволь поглядеть на лицо твое!
а после обрати его к другому,

Но скажи хотя бы, что не разлюбишь младенца,
который родится у нас,

Нашего сына, кровь и душу мою: он имя «отец»
передаст другому.

Мы никогда не увидим вас.

Друзья, прощайте! Слишком издалека мы явились,
чтоб вам внушить доверье:

Только опаску и любопытство. Земля, которую
не покидали ни разу, вот что зовут надежным
и своим.

Пусть же остается при нас то, что мы получили как
дар, как источник внезапного веселья:

Знание человеческой тщеты и смерти в том, кто
почитает себя живым.

Ты остаешься при нас, твердое знание, наваждение,
пожирающее и пустое.

«Искусство, наука, вольная жизнь...» О братья, что
вам в нас?

Дадите ли вы уйти, если вы не можете дать покоя?

Мы никогда не увидим вас.

ПОСЫЛКА

Вы остаетесь, и мы на борту, и трап уже убрали.

Ничего, кроме дыма в небесах. Не ждите, что мы
снова окажемся у вас.

Ничего, кроме вечного Божьего солнца и воды,
сотворенной Им, и она как в начале.

Мы никогда не увидим вас.

ПЕСНЯ В ДЕНЬ СВЯТОГО ЛЮДОВИКА

Ячейки сети распустились, и сеть исчезла, как сон.
Сети, в которой меня держали, нет. Я освобожден.

Моя тюрьма — единый Бог и высокий цвет земли.
Есть жатва вечно та же и вечно той же пустыни
ковыли.

Никакая дорога сюда не ведет, нет карты этих краев.
Только труд на одном и том же месте, под ливнем,
в грязи, в преодоленье дней и часов.

Никакая дорога сюда не ведет, только август веры
и неба круговращенье.
И мы не переменили мест, а нас окружило свеченье.

Благословенны все оковы, все путы, какие были
на мне.
Нужно покрепче связать человека, чтобы доставить
к тюрьме.

Моя тюрьма — величайший свет и величайший жар.
Явление августовской земли, все прочее
упраздняющий дар.

О чем же мне в минувшем жалеть и чего в грядущем
искать,
Если то, что окружает меня, — нестерпимая
благодать?

И что мне рассуждать о себе, беден я или богат,
Если Бог Господь вокруг меня, и это важнее в тысячу
крат.

Нивы из золота, а вдали, из-за жнив, из-за полей —
Неизъяснимый розовый свет и сама земля людей!

Сама земля принимает вдруг бессмертия странный
цвет,
Цвет Бога с нами, и все племена сошлись сюда,
на свет.

Неизъяснимый розовый цвет и тысячи тысяч
живых!
Море золота и огня у наших шатров полевых.

Это День святого Луи, Исповедника и Французского
Короля.
В пальцах моих я держу его плащ, шитый грубым
колосом, золотой, как сегодня земля.

И я вижу, куда ни обернись: сено гребут, молотят
снопы, ставят стога.
И волнуются несжатых овсов глубокие облака.

Плащ из золота, кайма его бархат, синий дочерна,
Как лес двойной вокруг Санлиса в теперешние
вечера.

Какая же может быть печаль, если каждый год
август месяц неизбежен, как рок?
Печаль мгновенна, печаль пройдет, но радость —
первый замысел и последний итог.

Свет овладевает всем и гонит ночь долой.
Стаи перепелов из-под ног моих вспархивают над
светлой землей.

Земля смеется и знает, смеется и прячется в хлебе
и в сиянье.

Чтобы нашу тайну сохранить — не хватит никакого
молчанья.

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ

Вот и зима наконец, и святой Николай
по нехоженным лесам
Бредет с двумя мешками даров к лотарингским
малышам.

Вот и кончилась эта осень гнилая, вот и снег, слава
Богу.
Кончилась осень, кончилось лето, кончилось время
года.

(О, то, что еще не кончилось! и этот черный
мокрый путь
Мимо драных берез, в туман, в овраг — куда-
нибудь!)

Все бело, все одинаково, все чисто, чисто.
Небо набросило на землю этот плащ слоистый.

Всему конец: ни злого, ни доброго. Все будет
новым. Это черта.
Внизу — совершенно ничего и вверху — темнота.

Но окончательно белый мир — только ангелам как
дом родной.
А во всей округе сейчас ты не увидишь души живой.

Никто не проснется, ни один малыш не вздрогнет,
сам не свой,
Пока ты к нему в эту ночь спешешь, мирликийский
могучий святой!

О ночной епископ в перчатках! надежда всех, кто
вовремя лег,
Кто целый день уже умница и два часа уже как
знает урок.

Святой Николай, кому Бог разрешил что угодно
переменить,
Кто может весь этот старый мир, где не слишком
весело жить —

Подбросив звезд и бубенцов, помпонов
и мишуры, —
Преобразить в самодельный рай, в огромный зал
для игры.

Ты позволь, мы зажмуримся крепко и трижды
стукнем в твой ларек:
Святой Николай, ты принес все, что будет, ты
творенье сложил в мешок!

Пусть другим достаются солдатики, куклы, поезд
заводной!
А мне ты дай один коробок, закрытый, непростой!

Я проделаю дырочку и погляжу — все крохотное
и совершенно живое:
Золотого тельца, наказание евреев, а прежде —
потоп и Ноя,

Все, что внутри. И пускай там солнце по небу ходит
И два кавалера из-за дамы в черном на поединок
выходят.

И в доме, который будет моим, где лампы, дети,
кресла, фонари,
Я сквозь каминную трубу полюбуюсь на то, что
внутри.

СВЯТАЯ ЦЕЦИЛИЯ

Праздник святой Сесиль справляют у нас в ноябре.
И когда разложат плоды в домах и приберут во
дворе,

Мы увидим, как возами везут и сгружают
у базилики
Контрабасы, цимбалы, тромбоны, пюпитры — все
сосуды музы́ки.

Это поддержка могучему хору в четыреста голосов.
Спелый голос земли, умный голос людей —
с приношением звука идем мы сегодня под
Божий кров.

Но ранней весной гонений, в сверкающих ветвях
Цецилия, не дожидаясь цветенья, запела первой
из певчих птах!

У нее три ноты, вот и всё: слушайте, зиме конец!
Лютой языческой зиме, смерти и скорби и скверне
сердец!

Девушка, не сотворившая зла, ребенок, который
весело твердит все, что знает...
Палач! напрасно секира твоя трижды над ней
взлетает!

Тьфу, ненавистник счастья! человеческой рукой
Не оборвешь в этом нежном горле клекот гаммы
святой!

И каждый раз, как ты, трудясь, рубишь во весь
замах,
Мелодии срубленная голова во всей красе
поднимается с улыбкой на губах!

Так, когда кончит богослов и все аргументы сведет,
Когда больше не хочет она говорить — слушайте:
Церковь поет!

Платье Цецилии ало, и с каждым ударом хлещет
кровь сильнее!
Слышите, с каждым ударом выше этот голос,
победитель всех смертей!

И наконец, покидая ребенка, который больше ее
не удержит и не вынесет мир,
Ликующая Аллилуйя летит в свой безумный
сапфир!

ОТВЕТ МУДРОГО ЦИНЬ ЮАНЯ

Премудрый Цинь Юань на склоне лет,
Когда чародей предложил свести его годы к цифре
два, сказал в ответ:

— Я знаю все о Весне, я знаю, как Лето
продолжительно до изнеможенья.
То, что теперь мне нужно понять, именуется
Осенью, вне сомненья.

Не должен ли я подтвердить, что созревает все, что
скрыто, и все, что на виду?
Что не преминул приобрести свою форму, цвет
и вес каждый плод в моем саду?

Лицо мое, как рукопись на шелку, глядит на меня из
зеркал,
И нет часа, чтобы усердный писец новых знаков
в нее не вписал.

Как же мне не покориться столь искусной
и властной руке?
Я не оставлю этого чтенья на самой важной строке.

Почему мы считаем концом то, что
в действительности — возникновение?
С надеждой и наслаждением я предаюсь
леденящему дуновенью.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «АТЛАСНОМУ БАШМАЧКУ»*

Все, конечно, встречали в музеях картины
фламандской школы. На них
Можно увидеть казнь епископа под крыльями
мельниц ветряных
Или великие события из обоих Заветов и из жизни
святых.

А в глубине — дровосек с вязанкой и мужичок
на пашне.
Соколиная охота, дерево, парусник, башня.

Ангел в небе играет на виоле, у другого чаша
и опущенное крыло.
И множество презабавных сцен, которые видно
только в увеличительное стекло.

Спроси у любого на полотне: что там у вас
творится? — и вряд ли кто ответит внятно.
Но ребенку с первого взгляда все совершенно
понятно:

Этого доброго дядю мучат, а тот выходит пахать.
Правильно, что все они вместе, не обязательно
объяснять.

«Если есть тут связь, лови ее! — говорит
живописец, — она из каждой точки скачет
блохой».

* «Атласный башмачок» — пьеса-мистерия Поля Клоделя (1924).

И автор, выпустив это быстрое зернышко черной соли, улыбается и клянется, что хитрости тут нет никакой.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Когда поднимается ветер, все мельницы крутятся,
как одна.

Но есть другой ветер: Дух, который гонит перед
собой народы и племена

И который после длительного затишья встает
и треплет человеческий пейзаж до окоема!
Мысль во всех концах земли вспыхивает, как
солома!

От Темзы до Тибра слышно: режут машины, оружие
гремит.

И всю землю вдруг покрыли белые маки, и всю
ночь изрыли геометрические знаки и греческий
алфавит.

Вот Америка поднимается, сверкая, вот Азия чувствует
шевеленье нового бога в утробе своей,
И влюбленный наконец находит слово: смотрите,
эта гордая женщина дрогнет, как стены
крепостей!

Все это, скажете вы, между собой не имеет связи;
но тот, кто влез на дерево, чтобы получше
разглядеть, —

Знает, что все это — те же всадники, поющие
в небесах, и той же трубы роковая медь!

То же самое «больше невозможно!», тот же
открытый рот, та же грудь, которой нечем
дышать!

Движенья различны, но ветер один, и его
не сдержать!
И потому я пишу мой холст, на котором
располагается все, что угодно.
Но странную точку жизни, которая все это собрала
и свободно

Расположила, — лови ее сам, дорогой читатель! она
из каждого места скачет блохой.
И автор, выпустив это быстрое зернышко черной
соли, улыбается и клянется, что хитрости тут
нет никакой.

А что он сделал, позвольте спросить?
Да позабавился, как во время оно
Лопе де Вега и все великие драматурги Альбиона,
Среди прочих и тот, кто выпустил Генриха Шестого
и Гамлета из своего черепа-корнишона.

СВЯТОЙ ИЕРОНИМ, ПОКРОВИТЕЛЬ СЛОВЕСНОГО ИСКУССТВА

Господь Бог послал ему льва, чтобы он не скучал.
Лев золотым своим глазом следит, как тот
по-еврейски бормочет, ищет латинское слово...
вот оно! — и записал.

Как Ангелы тебя однажды поправили, нужно
верить, было ко благу. До слез, до стога,
Иероним, я благодарю их за то, что они изгнали
из тебя Цицерона!

И не потому, что ты Пауле написал, что тебе нет
дела до обилия слов и закругленности фраз,
Но потому, что Бог — отвесная гора, и благодать,
а не благозвучье на ней поддержит нас.

— Важно идти, и тем хуже мне, если я могу дойти
лишь превратными путями!
Важно взбираться, волей или неволей, нужно
взойти, а если требуется, так цепляясь зубами!

Посмотри, как я лезу из кожи, как жую еврейский,
греческий, дикую латынь — и все это выходит
из пор моих, как пот!
Божий язык — навеки для Церкви: вот, Ангел из
плоти моей его извлечет!

Некое песнопенье, каких не слыхивало создание
земное!

Шествие Божьего воинства, триумфальный
марш — и пространство в этом строе!

Ангелы вперемежку с людьми, земля содрогнулась,
Израиль бьет из разломов планеты, хлещет
по всем изгибам.

Нечто сокрушительное, нечто такое, от чего у вас
волосы встанут дыбом!

Нечто сладостное и горькое вместе, от чего ваше
сердце, как воск от огня, растает.

Земля, уравний пути свои: Господне воинство
выступает.

Важно выйти из лона Авраамова, выйти Исайе,
Давиду, выйти Екклесиасту и храму
Иерусалима!

Выйти этой церкви, которая алчет слова в сердце
моем, этому Западу, который — чтобы
заговорить — не обойдется без святого
Иеронима!

Важно вырваться, вот так! вырваться, ибо слово
в утробе моей — и горе Квинтилиану!

По телу поверженного язычества моя упряжка
тройная катит напрямиком!

Я стою во весь рост на колеснице Ильи, который
гнев переводит в гром!

Дух, ворковавший, как голубица, вот он ревет, как
ураган,

И око белой звезды вдруг расцветает в сердце
твоём, чудовищный океан!

Надписание на Кресте — на трех языках: среди
трех — наречие Рима.

И я, чтоб точнее перевести, ближе к плачу
младенца, в Вифлеем — вот куда поместил
мастерскую святого Иеронима.

Эти свитки пергамента, один на другом, их узнают
в Риме, слушай, лев, слушай! Церковь
собирается, чтобы мне внимать.

Слушай, лев, эта Церковь на всей новорожденной
земле слышит меня и начинает мощно
лепетать.

Иероним, который стал пророком, когда Бог
велел, мы любим его за то, что был он человек
словесного искусства.

Вы слышали на утешенье себе, вы все, кого
оскорбила критика без чести, ума и чувства?

Когда среди пустыни своей он узнал, что его задел
Руфин,

Он испустил такой вопль, что его слышали вплоть
до средиземноморских глубин!

SOLVITUR ACRIS HIEMS*

Снова веет зефир и горькую зиму размыкает.
Вот и конец кусачим стужам, щипучим борейам
и кутанью до ушей.
Кто-то нежно, нежно пришел на подмогу: всё
расправит, всё приласкает. Жало духа пронзило
стихию дней.

Кончился месяц февраль, март — апрель у нас
впереди.
Кончилась злая зима, и на ветках, где вчера был
иней, что-то розовое — погляди!

Ряды тополей у Роны будто ряд веретен.
Будто девушки, на ушко́ друг другу передающие сон,

Будто факелы, перенимающие друг у друга огонь,
и ряд их без конца; будто народ, говорящий друг
другу, что Царство пришло!
Вереница ангелов золотых: душа души касается
и крыла крыло.

Еще немного, и мы увидим, как умершие готовятся
к одеванью.
Эта зелень в мертвой траве — как вера: она твердит
про себя обетованье.

Фиалки скромно напоминают, что нынче пост,
и маргаритки удивлены, как девчушки из
бедного люда.

* Размыкается суровая зима (Нор. Carm. I,4).

А первоцветы — словно свежее масло, и нездешнее
золото мать-и-мачехи рассыпано повсюду.

Но вдруг — такого не бывает! — взрыв нарциссов! —
такого не приснится.

Это конец зиме, и тысячи птиц вперебой не могут
наговориться.

Это приоткрыли лавку, куда всякой всячины
навезли и вот-вот распакуют. Что же там,
внутри, творится?

Кончили? Кажется, нет. — Хлоп! и любопытство
в плену.

Ризничий с алтаря еще не снял пелену.

И когда я, ёжась, к утрени спешу, передо мной одна
Идет по лугам, посолённым инеем, на цыпочках
луна.

РЕКА

Выразить реку с ее водой — это нечто: это не что
иное, как огромное непобедимое влечение,
И не что иное — на карте или в мысли — как всё без
пропусков: поглощение
Явного и вероятного по ходу течения.

И никакой задачи, кроме горизонта — да моря где-то
вдали, как счастье.
И соучастье рельефа в этом весе и страсти.

И одно усилие — кротость, и одно терпение — связь,
и одно орудье — разум, и одна свобода, и она не
иное,
Как вечно впереди меня идущая встреча
с неизбежностью и строем.

Не шаг за шагом, но всей массой сразу, всей, какая
растет, тяжелеет, идет.
Материк за мной: захваченная мыслью земля
дрогнула и двинулась вперед.

Всеми точками своего бассейна — а это мир —
и всеми фибрами своего дыхания
Река созывает к себе все, что необходимо для
нарастанья.

Грохочущий каменистый поток — или ключ
с целомудренных гор, сверкающий в черед
святых теней,
Или настой пахучих болот, от которого овцы
делаются жирней, —

Главный замысел, сколько хватает глаз, обогащается
от случайностей и противотоков.

И артерия бредет путем своим, не беспокоясь
фантазиями притоков.

И вертит мельницы, и города на ее берегах —
один за другим — становятся прекрасны
и объяснимы.

И тащит всей силой весь этот мир, судоходный,
плавающий и мнимый.

И последний порог, как первый, как все,
преодоленные в свой черед,
Волей всей земли, идущей за ней, —
не сомневайтесь, она возьмет!

О Премудрость, однажды увиденная! Разве не за
тобой я пустился в путь с юности моей
начальной?

И когда я сбивался и падал, разве не ты поджидала
меня с улыбкой терпящей и печальной?

Чтобы снова мало-помалу я встал, преследуя
непререкаемое твое молчанье.
Это ты была, в час спасения моего, это лицо твое,
высокая дева, первая, кого я встретил в Писанье!

Ты, как второй Азария, взявший Товию в свое
попеченье.

Стадо твое из единой овцы не наскучило тебе на
мгновенье.

Сколько же стран мы вместе минули! сколько
происшествий и лет!

И после долгой разлуки — радость этих встреч,
светлей, чем свет!

И вот уже солнце так низко, что можно, кажется,
дотянуться рукой.
И так длинна твоя тень, что, как сама дорога,
ложится за тобой.

Сколько хватает зренья, лежит она за тобой
и она — твой след.
И для того, кто глаз с тебя не сводит, нет
головокруженья и сомненья нет.

Лес или поле, превратности разных мест, ливень,
завеса дыма —
Всё в присутствии лица твоего делается золотым
и различным.
И я всюду пойду за тобой, как за матерью
боготворимой.

ДВА ГРАДА
(ПО АВГУСТИНУ)
Кантата в трех частях*

1. ВАВИЛОН

Он пал, Вавилон великий!

Если не Бог созидает дом,
Если не Бог соблюдает град,
Все утруждались они, все трудились
и утруждались они и трудясь утруждаются —
те, кто в трудах созидают его!

Он пал, Вавилон великий!

Я, Иоанн, слышал глас орла, из среды воздуха
кричащего:
Увы! Увы! Люте! Люте! Горе! Горе!

Пал, пал Вавилон, Великая блудница!

Ибо Господь внезапно помянул ее, и Он дал ей
испить чашу великую, исполненную вина,
и пламя не иссякнет в нем! Изыдите из нее,
люди Мои!

Пал, пал...

* Кантата, написанная для музыки (ее написал композитор Дариус Мийо, Darius Milhaud), представляет собой центон из стихов Псалтыри, Апокалипсиса и Песни Песней, а также вариаций на их темы.

Все, все да станут вдали ее, да скажут, трепеща
в страхе:

Горе! Горе! Люте! Люте! Увы! Увы!

...Вавилон, блудница Великая!

Погибла ты, пристань! Погибли вы, житницы!

Погибла ты, мастерская! Погибла ты, лавка
торговца! Некому более, некому покупать, что
продает она.

Пал, пал Вавилон, блудница Великая!

Торгующие товарами золотыми и серебряными
и камнями драгоценными и порфирой
и благовонным деревом и всяким металлом
и всякими изделиями!

Пал Вавилон, Великая блудница!

— И киннамоном и благовониями и ладаном
и фимиамом, вином и елеем и тонкой мукой,
и скотом и овцами и душами человеческими!

Пал Вавилон, блудница Великая!

Веселись над ней, небо!

Святые, испустите глас радости о ней, ибо Бог
совершил над ней ваш суд!

Погиб Вавилон великий! Разбит и разделен
на части!

Пал, пал Вавилон, Великая блудница!

2. ЭЛЕГИЯ

Музыка тимпана и арфы, музыка арфы и других
орудий.

Звук рожка и свирели и голос, подпевающий
голосу. —

Вот, их уже никогда не услышишь!

И никакой художник и никакое художество не
найдут себе дела в стенах твоих.

Заглохнет голос мельницы! Голос мельницы
и других ремесел не слышится в стенах твоих!

Свет светильников не засветит уже над тобой.

И голос голоса с голосом, голос жениха и невесты,
голос с другим голосом внутри — их уже никогда
не услышат!

И очарование твое, привлекавшее всю землю,
конец ему!

Увы, город великий, облаченный в порфиру
и золото, украшенный жемчугом и алмазами,

Музыка арфы и других орудий.

Сладость флейты и свирели и голоса с другим
голосом, —

Не услышат ее больше!

Шум жерновов, глубокий шум мельницы — уже не
услышат тебя здесь никогда.

3. ИЕРУСАЛИМ

И я, Иоанн, увидел Град святой, Новый Иерусалим,
который нисходил с небес от Бога, как невеста,
убранная для жениха своего!

И услышал я голос, говорящий: се, скиния Бога
с человеками, и Он будет обитать с ними; они,
они будут народом Его и Бог, Сам Бог с ними,
Он будет Богом их!

Иерусалим, возведенный как город, и гражданство
его — в нем самом!

Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже, и вопля болезни уже не будет? и плача
не будет, ни болезни не будет никому.

Ибо прежнее прошло!
Яко первая мимоидоша!

— Ах, пусть язык мой прилипнет к гортани
и отсохнет рука моя, если в сердце моем я забуду
тебя, Иерусалим!

Пал, пал Вавилон великий!

Вот, зима прошла, дождь миновал, перестал, цветы
показались на нашей земле и голос горлицы
слышен: смоковницы распустили почки свои:
лоза издает благовоние свое опьяняющее.
Встань, возлюбленная моя, выйди! Как лилия
среди терний, так возлюбленная моя среди
девиц!

Я заглядывал за решетки, сквозь кладку камней
в стене, в углубления меж камней, явись,
появись, возлюбленная моя, дай услышать мне
голос твой, ибо он сладок!

(Голос горлицы раздался.)
(Глас горлицы слышан бысть.)

Возлюбленный мой принадлежит мне, и я Ему,
пока день склоняется и дышит ветер. Но что за
раны здесь, на руках твоих?

Ах, пусть отсохнет десница моя...

Ночи уже не будет! И не будет тебе нужды в свете
свильников, ибо Бог, Господь Бог Сам
позаботится осветить тебя! Ворота Иерусалима
не будут запираяться вовеки!

Ах, пусть отсохнет рука моя и язык мой да
прилипнет к гортани...

Кто жаждет, дам ему воды даром, обилие источника,
источенного источником воды живой!

И видел я реку воды жизни, светлую, как кристалл,
исходящую от престола Бога и Агнца.

...если забуду тебя, Иерусалим! Ах, пусть отсохнет
десница моя и язык мой пусть прилипнет
к гортани, если в сердце моем я забуду тебя,
Иерусалим!

Возлюбленный мой принадлежит мне, и я Ему.

Музыка

Акация струит молоко, и луна чудит в садах.
Пойдем, нам назначили свиданье на золотых
прудах

В погоне за вчерашним сном, от которого уцелел
один аккорд из белых нот
Для плоского челнока восьмых и слеза —
достаточный гнёт

Достаточно было замолчать, и чтобы кто-то на море
пел
И его сопровождали вразброс флейта и дульцимер.

Нам и предстоит довершить эту длинную фразу,
не находящую разрешенья.
Нам и предстоит завершить укор, растворенный
во вздохе изнеможенья.

ТОМАС СТЕРНЗ ЭЛИОТ

СТИХИ АРИЕЛЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ

«И назяблись же мы;
Худшее время года
Для путешествий, да еще таких путешествий:
Дороги вязнут, ветер хлещет,
Темно, как в могиле».
И верблюды сбивали копыта, хромали, упрямились,
Ложились в подтаявший снег.
Сколько раз мы жалели
О летних дворцах на склонах, о террасах
И о гибких девицах, подносящих шербет.
Да, погонщики прекословили и бранились,
И норовили сбежать, и требовали вина и женщин,
И костры гасли, и кровя не отыщешь,
И города неприветливы, и селенья враждебны,
И в деревнях грязь и непомерные цены:
Досталось нам.
Под конец мы решили ехать всю ночь,
Спали урывками,
И голоса в ушах наших пели и говорили,
Что всё это бредни.

На заре мы спустились в теплую долину,
Сырую, заснеженную, пропахшую травой,
С ручьем и мельницей, бьющей по темноте,
И три дерева на низком небе.
И старая белая кляча скакала прочь в луговину.
Мы завернули в харчевню с лозой над входом,
Шесть рук у дверей кидали кости, брали серебро,
И нога пинала пустой бурдюк.

Но там ничего не знали, так что мы отправились
дальше
И прибыли к вечеру, не то чтобы сразу
Отыскав что нужно; это нас (можно так сказать)
удовлетворило.

Все это было очень давно, я помню,
И я проделал бы все это еще раз, но скажи на милость,
Вот что скажи,
Вот что: вело это нас — вся эта дорога — к
Рождению или к Смерти? Это было Рождение,
несомненно,
Мы свидетели. Но я видал рождение и смерть
И считал, что это разные вещи; *то* Рождение было
для нас
Горькой и страшной агонией, как Смерть, наша
смерть.
Мы возвратились к себе, в эти Царства.
Но что мне теперь здесь, в старом порядке,
Среди чужого народа, цепляющегося за своих богов.
Я хотел бы умереть еще раз.

ПЕСНЬ СИМЕОНА

Господь, римские гиацинты цветут в горшках
и разгораясь зимнее солнце ползет по зимним
нагорьям;

Упорное время года загостилось у нас.

Жизнь моя легка в ожиданье смертного ветра,

Как перышко на ладони около глаз.

Пыль, кружась в луче, и память в углах

Ждут, когда остужающий ветер, смертный час
понесет их в землю умерших.

Даруй нам мир твой.

Многие годы ходил я перед Тобой в этом городе,

Храня обычай и веру, не забывая нищих,

Принимая и воздавая честь и дары.

Никто не ушел от дверей моих с пустыми руками.

И кто вспомнит мой дом, и где дети детей моих
найдут себе крышу,

Когда настанет время скорбей?

Они изучат козьи тропы и лисьи норы,

Спасаясь от чужеземных лиц и чужеземных мечей.

Прежде времени бича и хлыста и сокрушенья

Даруй нам мир твой.

Прежде стоянок на горах запустенья,

Прежде верного часа материнского вопля,

Ныне, при нарожденье болезни

Пусть это Чадо, это еще бессловесное,
непроизнесенное Слово

Покажет Израилево утешенье

Тому, у кого восемьдесят за спиной и ни дня впереди.

По глаголу твоему.

Они будут петь Тебе и терпеть в каждом роде и роде,

В славе и униженье,
В свет из света восходя по лестнице святых.
Не для меня дела исповедника, не для меня
 исступленье ума и молитвы,
Не для меня последнее виденье.
Даруй мне мир твой.
(И меч пройдет твое сердце,
И твое тоже.)
Я устал от собственной жизни и жизней тех, кто за
 мной.
Я умираю собственной смертью и смертью тех, кто
 за мной.
Отпусти раба твоего,
Ибо видел я твое спасенье.

ANIMULA

«Выходит из руки Божьей простая душа»
В плоский мир переменного света и шума,
В светлое, темное, сухое или влажное, прохладное
или теплое,
Двигаясь между ножками столов и стульев,
Поднимаясь или падая, жадная до поцелуев
и игрушек,
Смело устремляясь вперед, но вдруг, как по тревоге,
Отступая в угол руки и колена,
Требуется, чтоб ее утешали, веселится
Душистому великолепию рождественской елки,
Радуетса ветру, солнцу и морю;
Изучает солнечные узоры на полу
И оленей, бегущих по краю серебряного подноса;
Путает явь и выдумку,
Забавляется игральными картами, дамами
и королями,
И что феи делают и что слуги говорят.

Тяжелое бремя растущей души
Ставит в тупик и обижает, и день ото дня тяжелей;
Неделю за неделей обижает и ставит в тупик
Своими императивами: «быть и казаться»,
Можно и нельзя, желанием и контролем.
Боль жизни и снадобья воображенья
Загоняют маленькую душу скрючиться у окна
За полками с Британской энциклопедией.

Выходит из руки времени простая душа,
Нерешительная, замкнутая, искалеченная, хромая,
Неспособная ни двигаться вперед, ни отступить,
Пугающаяся теплой реальности и неожиданной
доброты,

Отталкивающая внушения крови,
Тень собственных теней, призрак в собственном
мраке.

Оставляет неразобранные бумаги в пыльной
комнате;

Но прежде еще поживет в тишине, приняв
последнее причастие.

Молись о Гутерьес, фанатке скорости и силы,
О Будене, разорванном бомбой в клочья,
О том имяреке, который склотил себе состоянье,
И о другом, который шел своей дорогой,
Молись о Флорете, которого овчарка загрызла
у тиса,

Молись о нас ныне и в час нашего рожденья.

МАРИНА

*Quis hic locus, quae
regio, quae mundi plaga?*

Какие моря берега какие серые скалы какие
Острова какая вода толкаясь в борт
И запах пиний и дрозд свистящий в тумане
Какие образы возвращаются
Дочь моя?

Те кто острят шакалий зуб имея в виду
Смерть
Те кто спелят опереньем колибри имея в виду
Смерть
Те кто сидят в хлеву наслажденья имея в виду
Смерть
Те кто лежат в животном томленье имея в виду
Смерть

Сделались бестелесными рассеяны ветром
Дыханием пиний звучащим туманом
Милостью проникающей эти места.

Что же это лицо, то смутное, то яснее,
Пульс в запястье, то слабый, то сильнее, —
Дар это или ссуда? Дальше чем звезды и ближе чем
око

Шепот и смешок между листьями и быстрой стопой
Под сном где вся вода встречается с водой
Бушприт попорчен холодами и краска — жарой.
Я создал это и забыл
И вспоминаю.

Снасти прохудились и холст прогнил
От октября до мая.
Я создал это неведомое, полумразное,
неведомое, мое.
Время заделывать течи и конопатить швы.
Этот образ, это лицо, эту жизнь
Живущую, чтобы прожить времена, где меня уже
нет; вели
Бросить жизнь мою ради этой жизни, речь мою
ради невысказанного ее,
За пробуждение с приоткрытым ртом, за надежду,
за новые корабли.

Какие моря берега острова из гранита какие
к тимберсу выйдут
И дрозд зовущий в тумане
Дочь моя.

КУЛЬТИВАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛЕЙ

Есть различные подходы к Рождеству;
Некоторые из них мы оставим без обсуждения:
Социальный, унылый, откровенно коммерческий,
Разгульный (пивные открыты до полуночи)
И ребячливый — но совсем не тот, что у ребенка,
Для которого свеча — это звезда, и позолоченный
ангел,
Раскинувший крылья на верхушке ели, —
Не просто украшение, но ангел.
Ребенок изумляется Рождественской Елке:
Пусть же он продолжает в духе изумленья
Празднику как событию, а не поводу для
чего-нибудь еще;
Чтобы ослепительный восторг, восхищенье
Первой в его памяти Рождественской Елке,
И подарки, и восторг новых приобретений
(Каждое со своим восхитительным запахом),
И ожидание гуся или индейки,
И ожидаемый трепет при их появлении,
Чтобы эта радость и благоговенье
Не были забыты в дальнейшем опыте,
В скуке, привычке, усталости, тошноте от жизни,
В знании смерти, в осознании собственного
провала,
Или же в благочестии неопита, которое отдает
самодовольством,
Неудобно Богу и непочтительно к детям
(И здесь я вспоминаю с благодарностью
Святую Лючию, ее рождественскую песню, ее
огненный венец):
Чтобы перед самым концом, в восьмидесятое
Рождество

(«Восьмидесятый» здесь — просто последний,
любой по счету год)
Накопленная память ежегодного волненья
Собралась в одну великую радость,
Которая одновременно — великий страх, как в те
времена,
Когда страх нашел на каждую душу:
Ибо начало напомним нам о конце
И Первое пришествие говорит о Втором.

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХИ АРИЕЛЯ

Название этого цикла или собрания стихотворений Т. С. Элиота не имеет особой связи с Ариелем, героем шекспировской «Бури», и его песнями. «Стихи Ариеля» — издательский проект *Faber&Faber*. Директор издательства Ричард де ла Мар в 1927 году начал серию ежегодных изданий с таким названием: она должна была состоять из стихотворений разных авторов, прежде не опубликованных, изданных каждое — отдельной брошюрой, в особом оформлении. Эти издания, по замыслу Р. де ла Мара, можно было дарить как рождественские открытки. Стихи издатель заказывал известным и молодым поэтам; они должны были быть связаны с Рождеством, или временами года, или с волшебными мотивами. Так, «Путешествие волхвов» Т. С. Элиота стало восьмым в первой серии из восьми «Стихов Ариеля» 1927 года. И в дальнейшие годы Т. С. Элиот продолжал участвовать в этом проекте.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ

В основе стихотворения — краткий евангельский рассказ о мудрецах с востока, пришедших поклониться новорожденному Христу (Мф. 2, 1–12). Неожиданный образ этого путешествия у Т. С. Элиота берет исток в «Проповедях на Рождество» Ланселота Эндрюса (Lancelot Andrewes), епископа Англиканской церкви, известного проповедника XVII века. О том, как жили волхвы, вернувшись к себе, не думал, кажется, никто, кроме Т. С. Элиота.

ПЕСНЬ СИМЕОНА

Стихотворение посвящено Принесению в Храм младенца Христа (Сретению, в православной традиции). В текст его вплетены прямые цитаты из евангельского рассказа о праведном старце Симеоне и его молитве (песни) *Nunc dimittis*, «Ныне отпускаеши» (Лк. 2, 25–35). При этом первые слова этой молитвы появляются в самом конце.

Израилево утешение

«чающий утешения Израилева» (Лк. 2, 25).

ANIMULA

Animula (лат.) — маленькая душа, душенька, душонка. Это довольно редкое слово несомненно вызывает воспоминание о предсмертных стихах императора Адриана «*Animula, blandula, vagula*» («О душенька, неженка, беженка»), которые привлекли внимание друга Элиота, Эзры Паунда:

Душенька, беженка, неженка,
дружок и гостя бренности,
куда теперь отправишься,
голодная, сирая, босая?
утехи твои кончились!

В том эпизоде из «Чистилища» Данте, откуда взята первая строка (и, отчасти, весь сюжет стихотворения), этого слова, *animula*, нет. Есть *l'anima semplicetta*, душа-простушка.

«Выходит из руки Божьей простая душа»

Сокращенный перевод нескольких строк из Шестнадцатой песни «Чистилища»:

Esce di mano a lui che la vagheggia
prima che sia, a guisa di fanciulla
che piangendo e ridendo pargoleggia,

l'anima semplicetta che sa nulla,
salvo che, mossa da lieto fattore,
volontier torna a ciò che la trastulla. —

Выходит из руки Того, Кто ею любит / еще до того, как
она явится на свет, наподобие девочки / ребячась, плача
и смеясь, / простушка душа, которая ничего не знает, /
только, движимая радостным творцом / тянется к тому,
что ее радует (Purg. XVI, 85–90).

Гутьерес, Бутен, Флорет

Сам Элиот замечает, что за этими именами не следует искать конкретных персонажей.

Молись о нас ныне и в час нашего рожденья

Вариация Элиота на финальные стихи молитвы *Ave Maria* по Розарию: «Молись о нас, грешных, ныне и в час нашей смерти».

МАРИНА

Quis hic locus, quae regio, quae mundi plago?

Что это за место, что за область, что за край мира? (лат.). Из трагедии Луция Аннея Сенеки «Геркулес в безумии».

В первой сцене пятого действия Геркулес, придя в себя, узнает, что в безумии он убил жену и детей.

Сюжет «Марины», однако, основан на поздней пьесе У. Шекспира «Перикл, принц Тирский». В первой сцене пятого акта Перикл узнает, что его дочь Марина, которую он считал погибшей, жива (в следующей сцене он узнает и о чудесном исцелении жены, по которой он че-

тырнадцать лет соблюдал траур). У Т. С. Элиота речь представлена Периклу, узнавшему о спасении дочери. И у Сенеки, и у Шекспира действие разворачивается в опасных морских странствиях героев, их плаваниях из страны в страну, с острова на остров. Отсюда потерянности говорящего в неизвестном ему новом пространстве.

Те кто острят шакалий зуб и далее

Эта строфа дает образы четырех из семи смертных грехов: гнев, тщеславие, чревоугодие, похоть.

КУЛЬТИВАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛЕЙ

Это стихотворение написано значительно позже других «Стихов Ариеля», в 1954 году, когда издательство после долгого перерыва возобновило издание серии.

*Святую Люцию, ее рождественскую песню,
ее огненный венец*

Св. Люция (Лукия) — сиракузская первомученица, дева (283 — 13 декабря 304). Приняла мучение во времена гонений имп. Диоклетиана. Почитается как покровительница зрения, как просветительница.

В праздник св. Люции, который приходится на рождественский Адвент (13 декабря, зимнее солнцестояние), девушке, которая изображает св. Люцию, надевают на голову венец с горящими свечами.

Когда страх нашел на каждую душу

В евангельском рассказе о Рождестве: «И был страх на всех, живущих вокруг них» (Лк. 1, 65); «Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме» (Деян. 2, 43). Находящий на всех окружающих страх — постоянный мотив в «Деяниях апостолов».

ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА

I

Поскольку я уже не надеюсь вернуться
Поскольку я не надеюсь
Поскольку я не надеюсь вернуться
Ревнуя дарам одного и размаху другого
Я не желаю желать ничего из этого изобилия
(Станет ли старый орел испытывать крылья?)
Стану ли я скорбеть
Об иссякшей силе обыкновенного царства?

Поскольку я не надеюсь увидеть снова
Дряхлую славу определенного часа
Поскольку могу судить
Поскольку знаю что не желаю знать
Удостоверяемой преходящей власти
Поскольку мне не пить
Здесь, где деревья цветут, и бьют родники,
 ибо здесь ничто не снова

Поскольку я знаю что время всегда время
И место всегда и только место
И действительное действительно только на это
 время
И только для этого места
Я радуюсь что вещи суть как они суть и
Отворачиваюсь от светлого лика
Отворачиваюсь от голоса
Ибо я уже не надеюсь вернуться
Следовательно я радуюсь, имея в виду построить
 нечто
В основание радости

И молиться Господу, чтобы смиростивился Он над
нами

И я молюсь, чтобы мне забыть
Все о чем я слишком много с собой говорил
Слишком растолковал
Поскольку я не надеюсь вернуться
Пусть эти слова ответят
За то что сделано и не будет сделано снова
Пусть суд над нами не будет слишком суровым

Ибо эти крылья уже не крылья какие полет
раскрывал
А всего лишь опахала продолжающие биться
В воздухе который стал окончательно сух и мал
Меньше чем воля и суше
Научи нас трудиться и не трудиться
Научи нас сидеть и слушать.

Моли о нас грешных ныне и в час нашей смерти
Моли о нас ныне и в час нашей смерти.

II

Госпожа, три белых леопарда сидели под
можжевеловым деревом
В прохладе дня, наевшись до насыщенья
Моими икрами сердцем печенью и всем
содержимым
Полостей внутри моей кожи. И Господь сказал
Эти ли кости оживут? Эти
Кости оживут? И то, что осталось
Внутри костей (сухих костей), говорит пощелкивая:
В силу милости Госпожи этой
И в силу ее изящества, и в силу

Того, что она почитает Деву молитвенным
созерцанием,
Мы сверкаем великим блеском. И я, невидимый
здесь,
Предаю дела мои забвенью и любовь мою
Потомству пустыни и плодам тыквы.
Это, быть может, покроет
Потроха мои, жилы глаз и несъедобные части
Отброшенные леопардом. Госпожа отрешенья
В белом облачении, для молитвы, в белом
облаченье.
Пусть белизна костей искупит забвенье.
В них жизни нет. И я, как я забыт,
И хочу быть забыт, так я желал бы забыть,
Вот так; в преданности и собранности у цели.
И Господь сказал
Слово свое ветру, и только ветру, ибо только
Ветер выслушает. И кости запели защелкали
Стрекотом кузнечика, и так сказали

Госпожа молчания
В скорби и мире
Пронзенная пречистая
Роза памяти
Роза забвения
Изнуренная и жизнь подающая
Страждущая бесстрастно
Единая Роза
Ныне стала Садам
Где всей любви венец
Простым страданьям
Любви неутоленной
И горшим страданьям
Любви утоленной
Конец бесконечного

Пути к Не-концу
Решенье всего что
Неразрешимо
Речь без слов и
Слово не из речи
Матери слава
О чудном Саде
Где всей любви венец.

Под можжевельным деревом кости пели,
разметанные и сверкающие
Мы рады, что нас разметали, мы слишком мало
добра принесли друг другу,
Под деревом в прохладе дня, с благословенья песка,
Забыв себя и друг друга, соединясь
В покое пустыни. Это страна, которую нам
Разделят по жребию. И ни разделение ни единенье
Ничего не значат. Это страна. Это наше наследство.

III

На первом повороте второй ступени
Я обернулся и внизу увидел
Ту же форму вьющуюся у перил
Под завесой нечистых испарений
В схватке с дьяволом лестницы; тот имел
Лукавое лицо надежды и паденья.

На втором повороте второй ступени
Я оставил их виться и внизу увидел:
Лиц уже не было. Пролет был темный и шаткий,
Щербатый, скользкий, как рот неряшливого
старика
Или зубастая глотка дряхлой касатки.

На первом повороте третьей ступени
Было прорезное окно, разбухшее, как смоква,
А выше боярышник в цвету и пастушеская сцена.
Кто-то широкоплечий в зеленом и голубом
самозабвенно
Чарует древней флейтой майский дол.
Темной прядью играет ветер, темные пряди от губ
отводит,
Чудесные темные цвета сирени;
Отвлеченье, музыка флейты, взмах, вздох ума
на третьей ступени
Слабей, слабей; сила поверх надежды и паденья
На третьей ступени.

Господи, я недостоин
Господи, я недостоин

НО СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО.

IV

Кто шел между лиловым и лиловым
Кто шел во всей
Разнообразной зелени разнообразных ветвей
В белом и голубом, в Марииных цветах,
Беседуя о пустяках
В неведении и знании вечной печали
Кто шел среди всех кто шли и молчали,
Кто силу рождал в источниках и чистоту в родниках

Сделал прохладной сухую скалу и прочным песок
В синеве колокольчика, в синем цвете Марии
Sovegna vos

Это годы идут между всем, унося
Смычки и флейты свои, возрождая
Того, кто проходит сквозь время между сном
и бдением, одета

В складки белого света, ниспадающего, льнущего,
падающего.

Новолетья идут, обновляя
В ярком облаке слёз годы свои, обновляя
В новой строке древний ритм. Спаси
Время. Спаси
Непрочитанное видение в высоком сновиденье
Самоцветного Единорога в золоченом возке.

Тихая сестра в белом и голубом
Между тисами, за садовым божком,
Чья флейта не дышит, наклонила голову и кивнула
но не сказала ни слова

Но источник бьет и птица в ветвях поет
Спаси время, спаси сон
Знак того слова, которого не слышали, не сказали

Между тем как ветер сбивает мирьяды шелестов
с тиса

И после этого нашего изгнания

V

Если пропавшее слово пропало, если иссякшее
слово иссякло
Если неслышанное, нескáзанное
Слово не сказано, не услышано;

И все-таки есть нескáзанное слово, Слово
 неслышимое,
Слово без слова, Слово в сердце
Мира и ради мира;
И свет во тьме воссиял и
Против Слова неумиренный мир восстал,
Крутясь у сердцевины молчащего Слова.

О люди мои, что сделал я вам.

Где же, где слово найдется, где слово
Отзовется? Не здесь, ибо здесь нет тишины
Ни в море, ни на островах, и не
На суше, в тропическом лесу и в пустыне,
Для тех, кто ходит во тьме
В дневное время и в ночное время
Достойное время достойное место не здесь
Нет места для благодати там где не скорбят
 об утрате
Лица; нет времени для восхищенья в шумном
 коловращенье
где отвергают голос и его обращенье

Помолится ли сестра в покрывале
За ходящих во тьме, за тех, кто избрали тебя
 и восстали,
За тех, кто между двух огней, между дней и дней,
Часа и часа, слова и слова, силы и силы,
за тех, кто ждет
В темноте? Может ли сестра помолиться
О детях у ворот;
Они не уйдут и не умеют молиться:
Помолись о тех, кто избрал и восстает

О люди мои, что я сделал вам.

Помолится ли сестра среди тонких высоких
Тисов о тех, кто ее обидит, о жестоких
О тех, кто утрашен и не сдается на милость
И присягает перед миром и отрекается у скал
В последней пустыни у последних синих скал
Пустыня в саду сад в пустыне
Засухи, выплевывая изо рта сухое
семечко яблока.

О люди мои.

VI

Хотя я уже не надеюсь вернуться
Хотя я не надеюсь
Хотя я не надеюсь вернуться

В колебаниях между утратой и обретеньем
В непродолжительном скрещении сновидений
В сновиденческом сумраке от моего начала
до моего конца
(Отче благослови), хотя я не желаю желать ничего
не желаю усилъя
Но из широких окон к гранитным берегам
Белые паруса начинают полет в океан, летят в океан
лица
Неразбитые крылья

И погибшее сердце крепнет и ликуя
Чует утраченную сирень и утраченную морскую
Сагу, и слабый дух готовится к восстанью
За пригнутую золотую ветвь за утраченное дыханье
Океана, и слух торопится как привык
На воркованье ржанки и перепёлочий крик

И слепое око создает
Пустые облики у костяных ворот
И язык обновляет соленый вкус песчаной земли

Это время растяжки от умиранья до рожденья
Место одиночества где три сновиденья сошлись
У синих скал
Но когда голоса облетевшие с тиса исчезнут
Пусть встряхнут другой чтобы он отвечал

Благая сестра, святая мать, дух родника, дух сада,
Разреши нам не унижать себя ложью
Научи нас помнить и не помнить
Научи нас повиновенью
Даже среди этих скал,
Наш мир в Его веленье
И среди этих скал
Сестра и мать
И дух реки, дух моря, дух многих вод,
Разреши мне не быть отделенным

И пусть мой вопль к Тебе дойдет.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пепельная Среда — первый день 40-дневного поста в западной христианской традиции (у католиков, англикан, лютеран). Освящается пепел (сожженные пальмовые ветки прошлого года), затем этим освященным пеплом священник посыпает голову кающегося и изображает пеплом крест у него на лбу. Во время этого обряда (как и в дальнейших великопостных службах) читаются тексты из ветхозаветных пророков (Иоиля, Михея, Осии, Иезекииля), отзвуки и цитаты из которых входят в «Пепельную Среду» Т. С. Элиота. Видение пророка Иезекииля о воскрешении «сухих костей» было седьмым из двенадцати ветхозаветных чтений Великой субботы.

Другой постоянно вплетающийся в словесную ткань «Пепельной Среды» источник — Данте Алигьери, по преимуществу вторая кантика «Комедии». «Чистилище», пространство покаяния и очищения, — аналог покаянным службам Великого поста. При входе на Святую гору ангел в одеянии цвета пепла совершает над путниками нечто подобное обряду Пепельной Среды: острием копья он изображает у них на лбу семь P (peccatum) — знаки семи смертных грехов, которые они должны стереть на семи ступенях покаяния, семи террасах Чистилища.

Первые части «Пепельной Среды» первоначально появлялись как отдельные стихотворения, каждое под своим названием. При этом первой, под названием «Salutation», была опубликована вторая часть и уже вслед за ней — первая, под названием «Perch'ì no spero di tornar giammai», и третья, под названием «Al Som de l'Escalina».

I

Поскольку я уже не надеюсь вернуться

Первая строка — перевод начала «баллады изгнания» Гвидо Кавальканти, «первого друга» Данте, написанной им в политической ссылке, незадолго до смерти, «Perch'ì no spero di tornar giammai». Эту балладу перевел Эзра Паунд. Отсылкой к Кавальканти Т. С. Элиот сбивает читателя с толку. В балладе речь идет о том, что Гвидо не надеется вернуться в родную Флоренцию. Элиот же говорит о безвозвратном уходе от мира и мирских ценностей, о христианском обращении. Обращение (как и в «Стихах Ариеля») увидено им как своего рода смерть в надежде на воскресение.

Научи нас трудиться и не трудиться

В оригинале «to care and not to care», заботиться и не заботиться. Постоянная мысль Элиота о «правильной активности» и «правильной пассивности»: например, там, где это необходимо, действовать сознательно, и где необходимо — бессознательно.

Моли о нас грешных ныне и в час нашей смерти

Из молитвы Богородице по Розарию.

II

Госпожа

Образ благословенной девы, молитвенницы, посвященной Богородице, в «Пепельной Среде» напоминает дантовские образы: не только саму Беатриче, но и Матильду из Земного рая, и святую Лючию. Роль этой женской фигуры заключается в спасении гибнущего героя и в заступничестве за весь мир.

Три белых леопарда

Библейский образ леопарда (скимна) как воплощение жестокости. Но и Бог — во гневе — может предстать грешникам в образе леопарда (скимна): «Я буду для них как лев, как скимен буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, раздирать вместилище сердца их, поедать их там, как львица; полевые звери будут терзать их» (Ос. 13, 7–8).

Эти ли кости оживут?

«И сказал мне: сын человеческий! Оживут ли кости сии?» (Иез. 37, 3). Дальнейшее повествование Элиота основано на знаменитом видении пророка Иезекииля (Иез. 37, 1–14) о сухих непогребенных костях, которые воскресают и исполняются духом. Этот пророческий текст читается во время Великого Поста (в православном чине — знаменитая паремия на утрени Великой субботы, «Кости сухия»). У Элиота видение обрывается на первом эпизоде. Кости не встают, но только поют песнь Госпоже.

Единая Роза / Ныне стала Садам

Роза в западной литургической поэзии — символ Богородицы. Кроме того, здесь вспоминается дантовский образ Таинственной Розы, *Rosa Mistica*, венчающей Небесный рай. Эта Роза, составленная из душ святых, одновременно и сад (Раб. XXX, 100 и далее). Видение Таинственной Розы открывает для Данте Беатриче.

III

Первоначально опубликована с названием «Al Som de l'Escalina», к вершине лестницы (*прованс.*).

Это название — цитата из Данте, слова провансальского поэта Арнаута Даниэля, которого Данте встречает на самом верху горы Чистилища: «Per aquella valor / que

vos guida al som de l'escalina — Той силой, которая ведет вас к вершине лестницы» (Purg. XXVI, 145). Арнаут очищает в пламени грех страстной любви. Его слова еще появятся в VI части «Пепельной Среды».

На первом повороте второй ступени

Речь здесь и дальше («на втором повороте второй ступени», «на первом повороте третьей ступени») идет о духовном восхождении по лестнице покаяния и очищения. Такие лестницы, лествицы, описывали монашеские мистические сочинения. Какой традиции распределения ступеней следует здесь Элиот, остается гадать. Предполагают связь его ступеней с тем, как описан путь духовного восхождения в «Темной ночи души» Хуана де ла Круса (Иоанна Креста), которого в это время Элиот усердно изучал.

Господи, я недостоин

Евангельские слова сотника: «Господи! Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8, 8). Они положены в основу литургической молитвы перед причастием в Пепельную Среду: «Господи, я недостоин, но скажи только слово, и я исцелюсь». Элиот не завершает эту фразу.

IV

Sovegna vos

Вспомните, помяните (*прованс.*). Вновь цитата из Арнаута Даниэля: «Sovegna vos a temps de ma dolor! — Помяните в удобное время мое мученье!» (Purg. XXVI, 147).

Самоцветного Единорога в золоченом возке

Образ, напоминающий дантовского Грифона, который в Земном раю везет колесницу; на ней стоит Беатриче (Purg. XXI).

И после этого нашего изгнания

Вновь неполная цитата из молитвы *Salve, Regina* («Падуйся, Царица», лат.): «Ed Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende — И Христа, благословенный плод чрева Твоего, после сего изгнания нам покажи».

V

*И свет во тьме воссиял и / На Слово неумиренный
мир восстал*

Из пролога Евангелия от Иоанна: «И свет во тьме светит» (Ин. 1, 5) и «В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал» (Ин. 1, 10).

О люди мои, что сделал Я вам?

Укор Бога своему народу у пророка Михея: «Народ Мой! Что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне» (Мих. 6, 3). Чтение из книги пророка Михея входит в богослужения Пепельной Среды и Страстной недели.

Для тех, кто ходит во тьме

Ходить (или сидеть) во тьме на библейском языке — не знать истины, не знать Бога. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий» (Ис. 9, 2; Мф. 4, 16).

За тех, кто между двух огней

Образ двух огней, вечного (адского) и временного (огня Чистилища, то есть покаяния и очищения), из слов Вергилия у Данте:

e disse: «Il temporal foco e l'eterno
veduto hai, figlio —

и сказал: «Временный огонь и вечный / ты видел, сын мой» (Purg. XXVII, 127–128).

Белые паруса начинают полет в океан

Образ нового плавания «по лучшим водам» напоминает вступление к «Чистилищу» Данте:

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno —

Чтобы бежать по лучшим водам, поднимает паруса / кораблик моего гения (Purg. I, 1–2).

За пригнутую золотую ветвь

Золотая ветвь, которая помогает Энею войти в Аид.

У костяных ворот

В греческих поверьях, из ворот слоновой кости выходили ложные сновидения (из роговых — правдивые).

Наш мир в его веленье

Слова Пиккарды Донати в Небе Луны, которые Элиот находил «совершенно правдивыми и прекраснейшими». В ответ на вопрос Данте, не печалит ли ее то, что она на самом «низком» из райских небес, Пиккарда отвечает:

E 'n la sua volontade è nostra pace:
ell' è quel mare al qual tutto si move
ciò ch'ella crïa o che natura face. —

И в его воле наш мир: / Она — это море, к которому движется / Всё, что она сотворила и что делает природа (Par. III, 85–87).

Научи нас помнить и не помнить

Другой перевод того же «Teach us to care and not to care».

Разреши мне не быть отделенным / И пусть мой вопль к Тебе дойдет

Из молитвы перед причастием.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ МАРШ (ИЗ «КОРИОЛАНА»)

Камень, бронза, камень, сталь, камень, знаки
почета, копыта
По мостовой.
И знамена. И трубы. И столько орлов.
Сколько? Посчитай. И такая давка народа.
Мы не узнавали себя в тот день, не узнавали Город.
Это дорога к храму и мы, всё множество, толпа на
дороге.
Сколько ждущих, а сколько ждущих? Какая разница,
в такой день?
Они идут? Нет еще. Но какие-то орлы видны.
И слышны трубы.
Вот, идут. А он идет?
Естественная жизнь нашего бодрствующего Это —
восприятие.
Мы можем подождать с нашими табуретками
и сосисками.
Что там впереди? Тебе видно? Ну расскажи нам. Это

5,800,000 винтовок и карабинов,
102,000 пулеметов,
28,000 траншейных минометов,
53,000 полевых и тяжелых пушек,
Не скажу сколько снарядов, мин и взрывателей,
13,000 аэропланов,
24,000 авиационных двигателей,
50,000 вагонов амуниции,
Теперь еще 55,000 армейских вагонов,
11,000 полевых кухонь,
1,150 полевых пекарен.

Сколько времени заняли. Но теперь-то он? Нет,

Это капитаны гольф-клубов, это скауты,
А вот Société gymnastique de Poissy.
А вот проходит Мэр и Свита. Смотри,
Вот же он, смотри:
Ни о чем не спрашивают его глаза,
Ни руки, спокойно лежащие на лошадиной шее,
И глаза его наблюдают, ждут, воспринимают, они
равнодушны.
О скрытый под крылом горлицы, скрытый в груди
черепahi,
Под пальмой в полдень, под текущей водой
В неподвижной точке вертящегося мира. О скрытый.

Теперь поднимаются к храму. Будет
жертвоприношение.
Вот проходят девы с урнами, в урнах
Прах
Прах
Прах праха, и вот
Камень, бронза, камень, сталь, камень, знаки
почета, копыта
По мостовой.

Вот это всё, что мы видели. Но сколько орлов!
И сколько труб!
(И Пасха, мы не уехали из города,
Так что взяли маленького Кирилла в церковь. И когда
там зазвонили в колокольчик,
Он так вслух и закричал: пышки!)
Не выбрасывай эту сосиску,
Еще пригодится. Он смысленный. Позвольте, у вас
Огонька не найдется?
Огонь
Огонь
Et les soldats faisaient la haie? ILS LA FAISAIENT.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первоначально «Триумфальный марш» входил в «Стихи Ариеля». Впоследствии Т. С. Элиот изъясил это стихотворение из цикла и начал им другое, незаконченное сочинение — «Кориолан».

Знаки почета

В оригинале «oakleaves», дубовые листья, особые воинские знаки в форме дубовых листьев.

Естественная бодрствующая жизнь нашего эго — восприятие

Цитата из Э. Гуссерля (Husserl, Edmund. *Ideas General Introduction to Pure Phenomenology*. Transl. by W. R. Boyce Gibson. N. Y.: Collier Books, 1962).

5,800,000 винтовок и карабинов и далее

По словам самого Т. С. Элиота («Интервью»), список военных снаряжений он прямо позаимствовал из книги немецкого генерала (фон Людендорфа), вышедшей после Первой мировой войны.

Société gymnastique de Poissy

Общество гимнастики Пуасси (*франц.*)

Пышки!

Мальчик принял звон колокольчика во время евхаристического канона за знак к чаепитию.

Огонька не найдется? / Огонь / Огонь

По-английски, прикуривая, просят не «огонька», как по-русски, а «света» (light). Так что элиотовский «Марш» кончается светом, а не огнем.

Et les soldats faisaient la haie? ILS LA FAISAIENT

А солдаты построились в шеренгу? ПОСТРОИЛИСЬ (*франц.*).

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

ФУГА СМЕРТИ

Черное молоко рассвета мы пьем его вечерами
мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью
 пьем и пьем
мы роем могилу в воздушном пространстве там
 тесно не будет.

В том доме живет господин он играет со змеями
 пишет
он пишет когда стемнеет в Германию о золотые
 косы твои Маргарита
он пишет так и встает перед домом и блещут
 созвездья он свищет своим волкодавам
он высвистывает своих иудеев пусть роют могилу
 в земле
он нам говорит а теперь играйте а мы потанцуем.

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем вечерами
 пьем и пьем
В том доме живет господин он играет со змеями
 пишет
он пишет когда стемнеет в Германию о золотые
 косы твои Маргарита
пепельные твои Суламифь мы роем могилу
 в воздушном пространстве там тесно не будет

Он требует глубже врежьте лопату в земные уголья
 эй там одному а другому играйте и пойте
он шарит железо на поясе он им машет глаза у него
 голубые
глубже врежьте лопату эй там одному а другому
 играй не кончай мы танцуем.

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень и утром мы пьем вечерами
пьем и пьем
в том доме живет господин о золотые косы твои
Маргарита
пепельные твои Суламифь он играет со змеями
пишет

Он требует слаще играйте мне смерть Смерть это
немецкий учитель
он требует потемней ударяйте по струнам потом
вы подыметесь в небо как дым
там в облаках вам найдется могила там тесно
не будет

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень смерть это немецкий
учитель
мы пьем тебя вечерами и утром пьем и пьем
Смерть это немецкий учитель глаза у него голубые
он целит свинцовая пуля тебя не упустит он целит
отлично
в том доме живет человек о золотые косы твои
Маргарита
он на нас спускает своих волкодавов он нам
дарит могилу в воздушном пространстве
он играет со змеями и размышляет Смерть это
немецкий учитель

золотые косы твои Маргарита
пепельные твои Суламифь

TENEBRAE*

Рядом мы, Господь,
рядом, рукой ухватишь.

Уже ухвачены, Господь,
друг в друга вцепившись, будто
тело любого из нас —
тело твое, Господь.

Молись, Господь,
молись нам,
мы рядом.

Криво шли мы туда,
мы шли чтоб склониться
над лоханью и мертвым вулканом.

Пить мы шли, Господь.

Это было кровью. Это было
тем, что ты пролил, Господь.

Она блестела.

Твой образ ударил в глаза нам, Господь.
Рот и глаза стояли открыто и пусто, Господь.
Мы выпили это, Господь.
Кровь и образ, который в крови был, Господь.

Молись, Господь.
Мы рядом.

* *Tenebrae* — букв. «тьма» (лат.); литург. «темная утренняя» — особая утренняя служба на Страстной неделе в Великий четверг, Великую пятницу и Великую субботу.

МАНДОРЛА. НИМБ. МИНДАЛЬ

В миндале — что стоит в миндале?

Ничто.

Стоит Ничто в миндале.

Стоит оно там и стоит.

В ничем — кто там стоит? Там Царь.

Стоит там Царь, Царь.

Стоит он там и стоит.

Еврейская прядь, ты не будешь седой.

А твой взгляд, на что уставлен твой взгляд?

Твой взгляд уставлен на Миндаль

Твой взгляд уставлен на Ничто

Уставлен на Царя.

И так он стоит и стоит.

Людская прядь, ты не будешь седой.

Пустой миндаль, царский голубой.

КТО КАК ТЫ

Кто как ты и все голубки день и тень творит
из мрака
и клюет звезду из глаза прежде чем она сверкнет
и в ресницах щиплет травы прежде чем они
созреют
и швыряет двери в тучи до того как я ворвусь.

Кто как ты и все гвоздики кровь мотает как монеты
смерть глотает как вино
кто стекло себе для чаши из моих ладоней выдул
и окрашивает словом мной не сказанным
пурпурным
и громит ее в осколки камнем чьей-нибудь слезы.

ТАК СПИ

Так спи, мои глаза еще открыты.
Все чаши ливня, кажется, пусты.
Ночь сердце будет трогать, сердце — жито.
Но слишком поздно, жница, для косы.

Так снежно-бел ты, ветер небосвода!
Бело, что отнято, бело, что есть!
Ты знаешь счет часам, я знаю годы.
Мы пили ливень, ливень пили здесь.

ЗЕМЛЯ БЫЛА В НИХ

Земля была в них и
они рыли.

Они рыли и рыли. На это ушел
их день, их ночь. И они не славили Бога,
который, как они слышали, все это замыслил,
который, как они слышали, все это провидел.

Они рыли и дальше не слушали; и
они не стали мудрей, не сложили песен,
не придумали для себя никаких языков.
Они рыли.

И штиль навещал их, и вал штормовой,
и — все — их моря навестили.
Я рою, ты роешь, вон червь дождевой
тоже роет. Вот песнь: они рыли.

О Некий, о Всякий, о ты, Никакой!
Где теперь то, что шло на нигдежность?
О, ты роешь, я рою; я рою к тебе, за тобой
и наш перстень на пальце не спит, как младенец.

ПСАЛОМ

Некому снова слепить нас из персти и глины,
Некому заковать наш прах.
Некому.

Слава тебе, Никто.
Ради тебя мы хотим
цвести.
Тебе
навстречу.

Ничто
были мы, и есть, и будем
и останемся, расцветая:
Ничего —
Никому — роза.

С ее
пестиком светлосердечным
тычинками небеснопустыми
с красным венцом
пурпура-слова, которое мы пели
поверх, о, поверх
терний.

В ЕГИПТЕ

Ты должен в глаза чужестранке сказать: Ты вода.

Будь водой.

Ты должен ту, которую знаешь в воде, в глазах
чужестранки искать.

Ты должен ее вызывать из воды: Руфь! Ноэминь!

Мириам!

Ты должен украсить ее, когда ты ложишься с чужой.

Ты должен украсить ее облаками волос чужестранки.

Ты должен сказать Мириам, Ноэмини и Руфи:

Смотрите, я с вами ложусь.

Ты должен прекрасно убрать чужестранку, с которой
лежишь.

Ты должен украсить ее твоей болью: О Руфь!

Ноэминь! Мириам!

Ты должен сказать чужестранке:

Смотри, я с ними лежал!

ТОЙ СИНЕВЫ, КОТОРОЙ ВЗГЛЯД ЕГО ИСКАЛ

Той синевы, которой взгляд его искал, я выпил
первым.

Из следа твоего я пил и видел:

ты катишься сквозь пальцы мои, жемчуг,
и растешь.

Растешь, как все, кто преданы забвению.

И катишься: так черный град тоски

Сыплет в платок, белённый взмахами прощанья.

АССИЗИ

Умбрийская ночь.

Умбрийская ночь с серебром ее колоколов
и маслин.

Умбрийская ночь, ее камень, который принес
ты сюда.

Умбрийская ночь.

Не дыши, приходящее в жизнь, не дыши.
Наполни до края кувшин.

Скудельный кувшин.

Скудельный кувшин, на котором окрепла рука
гончара.

Скудельный кувшин, который тень навсегда
накрыла рукой.

Скудельный кувшин под печатью теней.

Камни, куда ты смотришь, камни без числа.
Впусти-ка, брат, осла.

Плетется осел.

Плетется осел в снегу, который голая сыплет рука.

Плетется осел перед словом, закрывшим затвор.

Плетется осел, он из рук сновиденье жует.

Сиянье, которое утешить не хочет, сиянье.
Мертвые, Франциск, они еще ждут подаянья.

ВЕЧЕР С ЦИРКОМ И КРЕПОСТЬЮ

В Бресте, где пламя вертелось
и на тигров глазел балаган,
я слышал, как пела ты, бренность,
я видел тебя, Мандельштам.

Небо над рейдом висело,
чайка спустилась на кран.
Всегдашнее, бренное пело,
Канонерка звалась Баобаб.

Трехцветному флагу с поклоном
я по-русски сказал: прощай!
Погибшее было спасенным
и сердце — как крепость, как рай.

КРИСТАЛЛ

Не на моих губах ищи твой рот,
не у ворот — пришельца,
не в глазах — слёзы.

Семью ночами выше сойдется красный с красным
семью сердцами глубже стучит рука в ворота
на семь роз позднее плещется колодец.

...ПЛЕЩЕТСЯ КОЛОДЕЦ

Вы молитвенно-, вы кощунственно-, вы
молитвенноострые лезвия
моего
молчанья.

Вы мои и со мной из-
увеченные слова, вы
мои точные.

И ты:
ты, ты, ты
мое что ни день то верней и верней
увядающее Позднее
роз —:

Сколько, о сколько
мира. Сколько
дорог.

Костыль ты, крыло. Мы — —

Мы детскую песенку что ли споем, ту,
послушай-ка, ту,
где про чело, про века, где про человека, да ту,
про кусты, про
глаза, пару глаз, наготове лежащую здесь, как
слёзы — и —
слёзы.

COAGULA*

И твоя
рана, Роза.

И свет на рогах у твоих
румынских волов
вместо звезды над
сугробом, в го-
ворящей, кра-
снопепельномощной
колбе.

* *Coagula* — сгущай (лат.). «Solve e coagula» — растворяй и сгущай. Алхимический девиз.

И гул: САМА

И гул: сама
правда
в человеческий мир
вошла,
внутри
вихря метафор.

НАДГРОБЬЕ ФРАНСУА

Обе двери мира
остались открыты:
это ты их открыл
на закате.

Мы слышим: вот они бьются и бьются
и несут неведомо что что
и несут эту зелень в твое
Вечно.

АЛХИМИЯ

Молчанье, как золото сварено, в
углях
ладоней.

Серый, огромный,
близкий, как все что утрачено,
сестринский образ:

все имена, все эти с вами
сожженные
имена. Сколько
пепла чтобы благословлять его. Сколько
земли покоренной
над
легкими легкими
кольцами
душ.

Серый. Огромный. Без-
примесный.

Ты, тогда.
Ты, с поблекшим
бутоном закушенным.
Ты в винной струе.

(Не так ли? и нас
освободил этот час?
хорошо
хорошо, как минуло умерло здесь твое слово)

Молчанье, как золото сварено, в
углях, углях
ладоней.
Пальцы, в дым ушедшие. Как венцы, ореолы
над —

Серый. Огромный. Без-
следный.
Цар-
ственный.

ЭТО БОЛЬШЕ НЕ

Это больше не
та
постепенно с тобой
часу на дно уходившая
тяжесть. Это
другая.

Это вес, приносящий назад пустоту,
спу-
тницу твою.
Он, как ты, безымянен. Быть может,
вы оба одно. Быть может,
и ты однажды меня назовешь
вот так.

КАК-ТО

Как-то,
я слышал его:
он мыл этот мир,
невидимый, ночь напролет,
он самый.

Раз — и до — без — конца,
уничтожаем,
аим.

Свет был. Спасение.

ДНЕМ

Заячьей шкурки небо. И снова
отчетливо пишет крыло.

Ведь и я, припомни,
цвета
пыли, я пришел
как журавль.

ЦЮРИХ, «У ЖУРАВЛЯ»

Нелли Закс

О слишком многом шла речь, о
слишком малом. О тебе
и еще-тебе, о
возмущении ясности, о
еврейском, о
твоем Боге.

Об
этом.
В день вознесенья, ввиду
городского собора, он сорил
золотом по воде.

О твоём Боге шла речь, я говорил
против него, я
позволил сердцу, какое есть у меня,
надеяться:
на
его лучшее, разъяренное, на его
раздирающее слово —

глаз твой посмотрел на меня, в сторону,
рот твой
пробормотал глазам, я услышал:

Мы
ведь не знаем, знаешь,
мы
ведь не знаем,
что
почем.

ТЫ БЫЛ МОЯ СМЕРТЬ

Ты был моя смерть:
тебя
я мог удержать,
когда все от меня отпало.

ИРЛАНДСКОЕ

Дай мне право прохода
по зерноступеням в твой сон,
право прохода
по соннотропе,
право, чтобы срезал я дерн
на сердцесклоне
наутро.

РОСА. И ЛЕЖАЛ Я С ТОБОЙ

Роса. И лежал я с тобой, ты, в отрепьях,
разжиженный месяц
ответами нас облеплял,

мы отгрошились с тобой друг от друга
и снова скрошились в одно:

Господь преломил этот хлеб,
хлеб преломил Его.

СИЛЫ, ВЛАСТИ

За ними, в бамбуке:
лающая проказа, оркестр.

Винсентов подарок,
ухо
дошло по адресу.

СТОЯТЬ В ТЕНИ

Стоять в тени
шрама воздушной раны.

Ни — для — кого — ничего — не — ради — стоять.
Неузнанным,
ради тебя
одного.

Со всем, что это сумеет вместить
и без
слов.

КАК ТЫ ВЫМИРАЕШЬ

Как ты вымираешь во мне:

в последний
истертый
узел дыханья
ты воткнул
с осколком
жизни.

Я ЕЩЕ ТЕБЯ ВИЖУ

Я еще тебя вижу: отголосок,
уловимый лото-
словами,
на гребне
прощанья.

Лицо твое тихо робеет,
когда оно вдруг
лампообразно засветится
во мне, в этом месте,
где горше всего говорят: Никогда.

ИРЛАНДКА

Ирландка, разлукой замаранная,
руку твою
читает
быстрее
быстроты.

Синь взгляда ее сквозь нее прорастает,
конец и победа
в одном:

ты,
пальцеокая
даль.

НОЧЬ ОСЕДЛАЛА ЕГО

Ночь оседлала его и скачет верхом, он в уме,
сиротское рубище — флаг.

больше не сбиться, не сбиться —
он к цели гоним

так это, так это, будто в волчках апельсины
будто на том, кто гоним и оседлан, уже ничего
кроме собственной
первой
в пятнах родимых, та-
инственномеченой
кожи.

СТРЕТТА. СЖАТИЕ

Доставлены в эту
местность
с несомненным следом:

трава, раздельными буквами. Камни, белые,
с теньями стеблей:
Довольно читать — смотри!
Довольно смотреть — иди!

Иди, у твоей поры
нет никаких сестер, ты —
ты дома. Не спеша, колесо
само из себя вращается, спицы
катят
катят по чернявому полю, ночи
не нужна никакая звезда, нигде
о тебе не спросят.

*

Нигде
о тебе не спросят —

Место, где лежали они, оно
как-то зовется — оно
не зовется никак. Они не лежали здесь. Нечто
между ними лежало. Они
не смотрели сквозь это.

Не смотрели, нет,
говорили о
словах. Ничто

не проснулось, так
сон
пришел к ним.

*

Пришел, пришел. Нигде
не спросят —

Я это, я,
я лежал между вами, я был
открыт, я был
слышим, я вам тикал навстречу, ваше дыхание
слушалось, я
это всё еще я, вы
ведь спите.

*

Я, всё еще тот же —

Годы.
Годы, годы, палец
шарит вверх, шарит вниз, шарит
вокруг:
швы, рубцы, на ощупь: вот здесь
оно широко разошлось, а здесь
снова сошлось, срослось — и кто
это прикрыл?

*

Прикрыл это
— кто?

Пришло, пришло.
Слово пришло, пришло,
пришло сквозь ночь,
хотело светить, хотело светить.

Пепел.
Пепел, пепел.
Ночь.
Ночь — и — ночь. Иди
к глазу, к мокрому.

*

Иди
к глазу,
к мокрому —

Бураны.
Бураны, с начала времен,
воронка частиц, а другое,
ты
ведь знаешь это, мы
в книге читали, было
не больше чем мнение.

Было, было
мнение. Как
мы друг за друга
хватались, за друга —
этими вот
руками?

Так оно и записано, это.
Где? Мы

всё это накрыли молчаньем,
молоком ядовитым снотворным, большим,
зе-
ленным
молчанием, чашелистником, самая мысль
об этом повисла на чем-то растительном —

зеленым, да,
повисла, да,
под безжалостным
небом.

На, да,
растительном.

Да.
Бураны, во-
ронки частиц, оставалось
время еще, оставалось
камнем еще попытать это — он
был согласен, он речи не
прерывал. Как с этим
нам повезло:

зерноватый,
зерноватый и волокнистый. Стеблистый,
плотный;
кистевидный, лучистый; в почках,
гладкий и
комковатый; пористый, раз-
ветвленный —; он не
прерывал этой речи, оно
говорило,
говорило охотно глазам сухим, пока их не закрыло.

Говорило.
Было, было.
Мы
не поддавались, мы стояли
в середине
пористого строенья, и
оно пришло, приблизилось.

Приблизилось к нам, пришло
сквозь нас, залатало
невидимо, залатало
до последней мембраны,
и
мир, мириадокристалл,
замкнулся, замкнулся.

*

Замкнулся, замкнулся.

Затем —

ночи, расслоившиеся. Круги,
синий или зеленый, алый
квадрат: всё свое
сокровенное мир предоставил
игре с этим новым
временем. — Круги,

красный или же черный, прозрачный
квадрат, ни одной
тени летящей,
ни одного из
мерных столов, ни одна
дымодуша не поднялась и к игре не примкнула.

*

Поднялась и
к игре не примкнула —

В совином полете, вблизи
окаменевшего шрама,
вблизи
наших отброшенных рук, в
последнем отказе,
над
стрельбищным рвом у
сожженной стены:

видимые, еще
раз, эти
борозды, эти

хоры, некогда, эти
псалмы. О, о-
санна.

Итак,
стоят еще храмы. У
звезды
света еще хватает.
Ничто,
ничто не пропало.

О-
санна.

В совином полете, здесь,
разговоры, цвета серого дня,
вод грунтовых следы.

*

(— — цвета серого дня,
вод
грунтовых следы —

Доставлены в эту
местность
с не-
сомненным следом:

трава,
трава,
раздельными буквами.)

СВЕТЛЫЕ КАМНИ

Светлые
камни проходят сквозь воздух, свет-
лобелые, све-
тоносцы.

Им нужно
не рушиться, не низвергаться,
не метить. Они
раскрываются,
как мелкий шиповник, вот так они распускаются,
так прят они
к тебе, моя тихая,
моя верная —:

я вижу тебя, ты их собираешь моими
нынешними, моими
чьими-угодно руками, ты ставишь их
в еще-раз-сиянье, какого никто
не обязан оплакивать, не должен именовать.

ЛЕД, ЭДЕМ

И есть страна Утрата,
там месяц в осоке стоит,
и все, что замерзло с нами,
сверкает и глядит.

Глядит, ведь оно с глазами,
и каждый глаз — земля.
Ночь, щёлок, щёлок, пламя.
Глядит оно, глаз дитя.

Глядит, глядит, мы смотрим,
ты видишь меня, я гляжу.
Воскреснет лед из мертвых
скорей, чем я доскажу.

ТЮБИНГЕН, ГЕНВАРЬ

Со слепотой пере-
говарившие очи.
Их — «так вот,
загадка есть Чисто-
возникшее» — их
память о
гёльдерлиновой башне, плывущей в э-
скорте чаек.

Посещенья утопленника-столяра при
этих
на дно идущих словах:

Приди,
приди бы сегодня
приди бы сегодня в сей мир человек со
световой бородой
патриархов, посмей,
заговори он об этом
времени, он
смог бы
только бубнить да бубнить,
ну-ну, ну-ну,
нудада.

(«Паллакш. Паллакш».)*

* *Паллакш* — слово, которое больной Гёльдерлин говорил и вместо «да», и вместо «нет».

СПИСОК ПЕРЕВЕДЕННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

RAINER MARIA RILKE

Das Stunden-Buch. Das Buch von der Pilgerschaft (1902)

Weißt du von jenen Heiligen, mein Herr?..

Neue Gedichte (1907)

DER AUSZUG DES VERLORENEN SOHNES

DER ÖLBAUM-GARTEN

Requiem. Für Wolf Graf von Kalckreuth (1908)

Die Sonette an Orpheus (1922)

ERSTER TEIL

I. *Und fast ein Mädchen wars und ging hervor...*

IX. *Nur wer die Leier shon hob...*

ZWEITER TEIL

XXI. *Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst;
wie in Glas...*

Verstreute und nachgelassene Gedichte (1906–1926)

AUFERWECKUNG DES LAZARUS

AN DIE MUSIK

PAUL CLAUDEL

Feuilles des Saints (1925)

LE FAIBLE VERLAINE. II. L'IRRÉDUCTIBLE

BALLADE (*Les négociateurs de Tyr...*)

SAINTE CÉCILE

Corona benignitatis Anni Dei (1915)

BALLADE (*Nous sommes partis bien des fois déjà...*)

CHANT DE LA SAINT-LOUIS

SAINT NICOLAS

Visages Radieux (1946)

ST. JÉRÔME. PATRON DES HOMMES DE LETTRES

Poésies diverses (1952)

LES DEUX CITÉS (D'APRÈS S. AUGUSTIN). CANTATE
EN TROIS PARTIES

Poèmes retrouvés (1957)

RÉPONSE DU SAGE HSIEN YUAN
PRÉFACE AU «SOULIER DE SATIN»
LE FLEUVE
LA MUSIQUE

T. S. ELIOT

Ariel Poems (1927-1954)

JOURNEY OF THE MAGI
A SONG FOR SIMEON
ANIMULA
MARINA
THE CULTIVATION OF CHRISTMAS TREES

Ash-Wednesday (1930)

Coriolan

TRIUMPHAL MARCH

PAUL CELAN

Mohn und Gedächtnis (1952)

TODESFUGE
VOM BLAU, DAS NOCH SEIN AUGE SUCHT
KRISTALL
IN ÄGYPTEN
WER WIE DU
SO SCHLAFE

Von Schwelle zu Schwelle (1955)

GRABSCHRIFT FÜR FRANÇOIS
ASSISI

Sprachgitter (1959)

TENEBRAE
ENGFÜHRUNG

Die Niemandrose (1963)

ES WAR ERDE IN IHNEN
ZÜRICH, ZUM STORCHEN
EIS, EDEN
PSALM
TÜBINGEN, JÄNNER
CHYMISCH
...RAUSHT DER BRUNNEN
ES IST NICHT MEHR
MANDORLA
DIE HELLEN STEINE
NACHMITTAG MIT ZIRKUS UND ZITADELLE
BEI TAG

Atemwende (1967)

STEHEN, IM SCHATTEN
COAGULA
EIN DROHNEN: ES IST
EINMAL

Fadensonnen (1968)

DU WARST MEIN TOD
IRISCH
TAU. UND ICH LAG MIT DIR
MÄCHTE, GEWALTEN

Lichtzwang (1970)

IHN RITT DIE NACHT
WIE DU AUSSTIRBST
ICH KANN DICH NOCH SEHN
DIE IRIN

СОДЕРЖАНИЕ

Ольга Седакова. Большая поэзия XX века	7
--	---

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

Ты знаешь ли святых твоих, Господь?..	15
Побег блудного сына	17
Гефсиманский сад	18
Воскрешение Лазаря	20
Реквием графу Вольфу фон Калкройту	22
«Сонеты к Орфею»	
Часть первая	
II. И девочка почти, она вошла...	27
IX. Тот только, кто пронесет...	28
Часть вторая	
XXI. Сердце, сады воспоем и садов неприступные входы...	29
К музыке	30

Поль Клодель

Невменяемый (Верлен)	33
Баллада (Негоцианты Тира...)	36
Баллада (Мы уже уезжали множество раз...)	38
Песня в День святого Людовика	40
Святой Николай	43
Святая Цецилия	46
Ответ мудрого Цинь Юаня	48
Предисловие к «Атласному башмачку»	49
Другая версия	51
Святой Иероним, покровитель словесного искусства	53

Solvitur acris hiems	56
Река	58
Два града (по Августину)	61
Музыка	66

ТОМАС СТЕРНЗ ЭЛИОТ

Стихи Ариеля

Путешествие волхвов	69
Песнь Симеона	71
Animula	73
Марина	75
Культивация рождественских елей	77
Примечания	79
Пепельная Среда	83
Примечания	92
Триумфальный марш (из «Кориолана»)	98
Примечания	100

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

Фуга смерти	103
Tenebrae	105
Мандорла. Нимб. Миндаль	106
Кто как ты	107
Так спи	108
Земля была в них	109
Псалом	110
В Египте	111
Той синевы, которой взгляд его искал	112
Ассизи	113
Вечер с цирком и крепостью	114
Кристалл	115

...плещется колодец	116
Coagula	117
И гул: сама	118
Надгробье Франсуа	119
Алхимия	120
Это больше не	122
Как-то	123
Днем	124
Цюрих, «У Журавля»	125
Ты был моя смерть	126
Ирландское	127
Роса. И лежал я с тобой	128
Силы, Власти	129
Стоять в тени	130
Как ты вымираешь	131
Я еще тебя вижу	132
Ирландка	133
Ночь оседлала его	134
Стретта. Сжатие	135
Светлые камни	142
Лед, Эдем	143
Тюбинген, генварь	144
Список переведенных стихотворений	146

Ольга Седакова

ЧЕТЫРЕ ПОЭТА

Редактор *Игорь Булатовский*
Дизайн-макет и верстка *Ник Теплов*

Подготовка электронного издания
Редактор *Маргарита Криммель*
Дизайн *Руслан Князев*